

Е. Н. Герасимов—участник гражданской войны, автор известных читателю книг «Повесть о Щорсе», «Игорь Петухов», «Куда

речка течет» и др.

В книгу вошли повести «Городок на Дреме», «Недалекое путешествие», «Олоненкне дали», «Семья Алешиных».

Главная тема повестей — жизнь советских людей в маленьких городах, в пригородных поселках, где прошлое и сегодняшнее, городское и деревенское живут хотя и не в мирном соседстве, но бок о бок («Городок на Дреме»). Автор рассказывает о людях, с которыми встречался в 20—30-х годах («Семья Алешиных»). О Севере, о памятниках старинного русского зодчества рассказывается в повести «Олоненские дали».

ГОРОДОК НА ДРЕМЕ

1. ВЕЗДЕСУЩИЕ МАЛЬЧИШКИ

Об этом городе я впервые услышал на реке-Дубне, добираясь до которой чуть не утонул в болоте вместе со своим только что купленным спиннингом и заплечным мешком, битком набитым всем необходимым, чтобы заночевать у костра, а в случае удачи и уху сварить. В то лето я долго таскался с нелегкой поклажей по речкам и озерам Подмосковья, выискивая самые укромные и безлюдные места. Не такой я был рыболов, чтобы сидеть с удочкой или бродить по берегу со спиннингом, если вокруг толчется народ. Мокрый и весь в грязи вышел я к Дубне. И какое постигло меня здесь разочарование! За прибрежным ольховником замелькало что-то красное, голубое, синее, оранжевое, и на открытую воду из-за кустов выплыли одна за другой три байдарки с парнями в цветных косынках и с девушками в цветных купальниках. С этими туристами я уже имел дело. На станции в самую последнюю минуту перед отходом автобуса они завалили его доверху своими непомерно длинными мешками с чем-то очень жестким, и мне пришлось всю дорогу колотиться об эти мешки затылком. Так вот, оказывается, что было в них! Байдарки решительно не вязались с тем, что приманило меня на Дубну: ну какая же это глушь, если туристы раскатывают тут на байдарках! Проехав в сторону от железной дороги около пятидесяти километров и перебравшись через болото, я рассчитывал попасть в такую глушь, где на реке увидишь разве что долбленку старогородского рыбака. Однако после того, как проблуждаешь полдня по болоту и едва выберешься из него, у кого не пропадет охота искать еще что-либо более глухое и дикое. Когда раздосадовавшие меня байдарки исчезли с глаз, я занялся только что купленным спиннингом. И не успел вытряхнуть разобранное удилище из брезентового чехла, как услышал за спиной чье-то посапывание. Оглянулся — и увидел сидящего на корточках в нескольких шагах от меня мальчишку. Сколько раз уже это бывало: только устроишься где-нибудь на речке, еще удочку не закинешь, как он, мальчишка, уже тут, присел рядом и глядит на тебя так, будто ты не рыбу ловишь, а черт знает какими глупостями занимаешься, первый раз такого видит. Спросишь его:— Ну чего ты? Он только пожмет плечами, усмехнется. Или подыметя, заложит руки в карманы и пойдет прочь, посвистывая,— чего, мол, с ним разговаривать: солидный дядька, в очках, с рюкзаком, термосом и целой кучей дорогих удочек, шатается по мелким речушкам — ума не хватает поехать на какую-нибудь рыболовную станцию, где для таких дядек специально разводят рыб и держат лодки. Всюду они преследовали меня — и на Истре, и на Воре, и на Паже, и на Торбеевом озере. Иногда казалось, что это один и тот же, какой-то вездесущий и всезнающий мальчишка, для которого я не больше чем любопытное насекомое. И этот вот на Дубне, бог весть откуда взявшийся, глядел на меня с пристальным любопытством. Но кроме любопытства в устремленном на меня взгляде сидевшего на корточках мальчишки я прочел и сочувствие.— А вы, дяденька, зря притащились сюда со спиннингом,— сказал он.— Плевое дело. Только блесну загубите. Речка уж больно заросла. Я поглядел на речку и увидел длинные, вытянувшиеся по течению, будто гребнем расчесанные водоросли. Где этими водорослями, а где тиной и кувшинками была покрыта вся Дубна, от берега до берега. Опять напрасно потратил

день, тащился полтора часа на поезде и два часа на автобусе.— Вам бы на Правдинское водохранилище поехать...— посоветовал мне мальчишка и, словно догадавшись, что ни на какое водохранилище с их рыболовными и лодочными станциями меня не затянешь, немного погодя добавил: — Или на Дрему. Дрема! Это звучало заманчиво. Раз Дрема, то, наверно, течет в дремучих лесах. Надо сказать, что, когда я выискивал для рыбалки безлюдные, глухие места, воображение мое рисовало речку, протекающую не просто в лесу, тем более в подмосковном, а в самом что ни на есть дремучем — какой-нибудь недоступный для московских туристов бережок вроде того, к которому приткнулся святой Макарий, плывший на камне по Ветлуге. В студенческую пору я пускался летом в далекие странствия. И как-то в ветлужских лесах забрел в глухую деревишку, называвшуюся не то Макарьино, не то Макарье, на притыке. Но пора эта столь давняя, что теперь я уже сам себе не верю, что когда-то ночевал в лесных дебрях у костра, видел на рассвете зайцев, сидевших на поляне рядком и умывавших лапками свои усатые мордочки, лосей, которые выходили прямо на меня из стоявшего на опушке тумана. Словом, название речки Дрема всколыхнуло мне душу, напомнив мои юные странствия в ветлужских лесах. Но до Ветлуги далеко, а до Дремы, как сказал мне мальчишка, немного дальше, чем до Дубны,— нужно ехать до Красноборска, туда тоже ходят рейсовые автобусы. И я тут же решил, что нечего мне таскаться по дубненским болотам,— поеду-ка лучше на Дрему, там скорее найду уголок, куда до меня еще никто не забирался со спиннингом. «Ну, конечно, кто же, как не мальчишки, лучше всех знают, где надо ловить рыбу?» — подумал я, возвращаясь под вечер не солоно хлебавши с Дубны.

2. ДЕБРИ ПОДМОСКОВЬЯ

В то лето мне не удалось попасть на Дрему. На станции пригородной электрички, откуда идет автобус на Красноборск, нужно быть очень внимательным, не теряться и энергично работать локтями. Автобусы отходят отсюда по множеству маршрутов, таблички с обозначением их едва умещаются на протянутой через привокзальную площадь проволоке, а очереди выстраивающихся под этими табличками пассажиров вовсе не умещаются на отведенном им узком пространстве, в результате чего тут трудно бывает разобраться, на какой маршрут стоишь в очереди. Дважды я пытался сесть на красно-борский автобус. Сбившиеся в толпу пассажиры кидались кто в передние, кто в задние двери. Я метался между ними, пока обе двери не оказывались крепко-накрепко закупоренными бабами со здоровенными мешками. Ну куда уж тут было мне лезть со своим рюкзаком и спиннингом! Расстроенный неудачей, я не стал ждать еще три часа следующего автобуса и сел на обратную электричку. А потом до конца лета не было больше времени выбраться на рыбалку. Однако Дрема все больше овладевала моими помыслами, особенно после того, как мне попала в руки одна книжоночка о Красноборске и его окрестностях, изданная еще в прошлом веке. Она подтверждала мою догадку, что Дрема потому так и названа, что течет в дремучих лесах, рубка которых, кстати сказать, еще в древнюю пору строго запрещалась царским указом. И еще узнал я из этой книжонки, что рыбы в Дреме некогда была такая пропасть, что монахи красноборского монастыря, имевшие жалованную грамоту от царя на рыбную ловлю, возили зимой в Москву язей, лещей и щук целыми санными обозами. Зимой, хотя тот год был у меня особенно суматошный: и выматывающая душу редакционная суетня, и торопливые поездки по заданию редакции, и окончание своей давней, трудно дававшейся работы,— все же в ожидании дня, когда смогу выкинуть из головы все, что неустанно вертится в ней и днем и ночью, даже во сне, я не раз раскладывал на столе карту Подмосковья и сразу глядел в тот дальний уголок ее, где уже за границей Московской области по зеленым пятнам лесов вьется синяя ниточка реки, пересекающая красный кружок древнего Красноборска. Там нашел я еще одну синюю ниточку— реку Кокву, впадающую в Дрему возле самого

города. Тоже заманчиво звучало — Коква! Картины дремучего лесного края и тихих рыбных рек возникали передо мною, когда я глядел на этот дальний уголок карты. Еще задолго до наступления следующего лета я начал запасаться всем необходимым для жизни на лоне девственной природы. На этот раз, готовясь к дальней рыбалке, я руководствовался специальной литературой, предназначенной не для простых рыболовов-любителей, а для рыболовов-спортсменов, и поэтому необходимого собралась такая куча, что пришлось купить второй рюкзак. И вот наступил долгожданный летний день, обещавший устойчивую теплую погоду с небольшими осадками, а следовательно, и хороший клев. Я отправился в путь с двумя заплечными мешками (за каждым плечом по мешку), с зачехленным спиннингом в одной руке и с завязанным тряпочкой ведром — в другой. Ведро я прихватил для рыбы и наполнил его картошкой — давно уже мечтал отведать ее, подгоревшую на углях, вывалянную в золе, пропахшую лесным дымком. Меня провожала вся наша коммунальная квартира. Все многочисленные жильцы ее знали, что я еду в дремучие леса, и в напутствие мне была дана масса советов, главное — не забираться в очень уж глухие дебри, а то еще не дай бог медведь задерет. От каких только опасностей не предостерегали меня добрые соседи, всю зиму с утра до ночи терзавшие мои уши радиоприемниками и радиолами, запущенными на самый громкий звук. После всех их предостережений совестно было бы опять вернуться с дороги. И на этот раз я не вернулся. А как, доехав на электричке до знакомой станции, втиснулся со своей громоздкой поклажей в автобус, легко представить себе, если скажу, что свои свалившиеся в толкучке очки я смог снова водрузить на нос лишь после того, как из автобуса вылезли колхозницы окрестных сел, на-выюченные мешками с городскими булками. Автобус катился по узкой бетонной дороге, прорезавшей обычный подмосковный смешанный лес, в котором только того и жди, что увидишь скворечник на дереве, забор с калиткой, застекленную террасу или крышу с телевизионной антенной. Я глядел в окно и ждал: когда же кончится этот дачный лесопарк? Но когда он кончился, началось не поймешь что — поле не поле, лес не лес, болото не болото: там две-три молоденькие березки, там плешивый осинничек, заросли ивняка, ольшаника, кое-где на кочковатом поле сиротливо высится одинокая сосна или ель, а вокруг пеньки, пеньки и пеньки. У меня совсем уже было упало настроение, но вот горизонт зачернел: кажется, начинаются настоящие леса. Въезжаем в сосновый бор, но — увы! молоденькая сосновая посадка, ни кустика, ни травинки, ни сухого сучка, ни шишки на земле, словно по лесу только что прошли с граблями да еще подмели. Такой бор можно увидеть и под самой Москвой. Автобус проскочил его за несколько минут, и опять — засеянные поля вперемежку с заросшими кустарником лужками и сорным мелколесьем на вырубках, насквозь просвечивающиеся березовые колки возле деревень. Потом на горизонте снова поднимается черная стена. Много раз появлялась вдруг эта стена, и каждый раз лес, казавшийся издали черным и глухим, оборачивался чистеньким, обихоженным, как парк, соснячком-подростком с плакатами и объявлениями, строго запрещающими разводить костры и курить. Еловый подлесок — единственное, что кое-где придавало этому молоденькому бору более или менее естественный вид. Где же этот дремучий красноборский лес? В Красноборске автобус остановился, не доехав моста: дальше дорога ремонтировалась. Впереди за доской с надписью «Проезда нет» громоздились горы и целые хребты песка. Перебравшись через них, я увидел чистенькую речку, огибавшую раскинувшийся на холме городок с высокой церковной колокольней, которая была превращена в пожарную каланчу, как о том свидетельствовало легкое деревянное сооружение наподобие садовой беседки, воздвигнутое на месте свергнутого купола. Живописно и необычно выглядит древний Красноборск с этой высоко вознесенной в небо надстройкой. Перейдя мост, я заколебался, куда пойти — вверх или вниз по речке. Лес был виден и в той и

в другой стороне, но мне показалось, что вниз по Дреме он более темный, и я пошел туда. Возле моста на лужайке под дуплистыми ивами стояла почерневшая от древности избушка с одним окном, забитым досками, вероятно бывшая кузница, еще сохранившаяся здесь на радость любителям древности. От нее по берегу вилась тропочка, и эта тропочка привела меня к какому-то земляному валу, тоже похожему на древний. Я стал перебираться через него, и как раз в самый трудный на подъеме момент на тропинке противоположного, застроенного домиками высокого берега появилась баба, катившая велосипед с большой корзиной белья. Увидев меня, она остановилась. Следом за ней еще одна баба везла к речке белье на велосипеде. И та остановилась. Обе они с высокого берега смотрели, как я со своей поклажей карабкаюсь на вал, сползаю и снова усердно карабкаюсь. Мое спиннинговое удилище в чехле они приняли за ружье, и я услышал:— Ох и горе-охотник! Еще до чайной не добрался, а уже ползает! Пока я взбирался наверх, из ведра выкатилась половина картошки. Не собирать же мне было ее на глазах у этих велосипедисток! Чтобы скорее скрыться, я свернул от речки в сторону какого-то большого недостроенного каменного здания, оказался на крайней улице города и, идя по направлению темневшего вдаль леса, вскоре вышел на берег искусственного озера. Доказательством тому, что это озеро искусственное, были и длинная насыпная плотина, служившая одновременно и проезжей дорогой, и наполовину затопленный забор первого от плотины домика набережной улицы. Бабы не зря упомянули про чайную. Выйдя на набережную, я сразу натолкнулся на это заведение. Возле крыльца его и у продовольственного ларька за углом толпился народ. Напротив у самой воды стояли скамеечки. Неподалеку виднелась лодочная станция с множеством лодок, стоявших на приколе у длинного мостка. На скате плотины сидели удильщики. Их собралось здесь столько, что они сидели впритык друг к другу, как торговки на базаре. Позади них мчались по плотине велосипедисты, мотоциклисты и грузовые машины. Это удовольствие—ловить рыбу на проезжей дороге, под треск мотоциклов и грохот автомашин — было не для меня. Меня манил к себе тот далекий берег озера, где сразу за плотиной начинался сосновый бор. Издали он казался мне дремучим. Я зашагал по плотине, поглядывая на сидящих у воды удильщиков. Уму непостижимо было, чего это они сбились тут в кучу, когда вот там, совсем неподалеку, пустой лесной берег, только чайки носятся над водой?! Впрочем, кто же не знает, что существует два вида рыболоволюбителей, и это совсем разные люди. Одни располагаются со своими удилищами на плотинах, пристанях, мостах. Это компанейские и непритязательные парни. Им лишь бы рыба лучше клевала, хоть бы и такая мелочь, как пескарь, ерш, плотва. Другие ищут места укромные, сидят каждый под своим кустом, таясь друг от друга. Это закоренелые в своих мечтах и предрассудках индивидуалисты. Мелочь они швыряют обратно в воду, им подавай обязательно леща, сазана или щуку.

3. ЩУКА В ОМУТЕ

Хорошо бродить по берегам лесных озер и рек, если идешь налегке, но для того, чтобы уйти подальше от людных мест, нужно захватить с собой побольше всяких дорожных принадлежностей и запасов, и в этом главная трудность пеших странствий, потому что с большой поклажей не хочется идти далеко. Лес, выглядевший издали дремучим, оказался очень похожим на московский Серебряный бор. Сначала я намеревался повернуть от плотины направо, вниз по течению Дремы, но, увидев, что направо лес тесно застроен жилыми домами, сарайчиками и какими-то клетушками, а дальше высятся фабричные корпуса и трубы, решительно повернул налево, чтобы расположиться на берегу озера, там, где кружатся чайки. Налево лес был не гуще, но домов в той стороне не видно было. Я уже облюбовал себе укромное местечко на берегу, когда вдруг заметил в нескольких шагах, за деревьями, новенькую постройку из горбыля, конфигурация которой не оставляла никаких сомнений в том, что я нахожусь рядом с общественной

уборной. То, что коммунальное строительство у нас проникает уже в леса, факт сам по себе, конечно, примечательный, но все же лес с общественными уборными — это совсем не тот лес, в котором можно поставить палатку, развести костер, печь картошку, варить уху. Снова взвалив на плечи мешки, подхватив ведро и спиннинг, я продолжал путь, намереваясь найти какой-нибудь бережок, более отдаленный от коммунальных объектов. Настроение мое падало все больше и больше, и в связи с этим покляжа становилась все тяжелее и тяжелее. К тому же нужно иметь в виду, что мне поминутно приходилось подтягивать сползавшие с плеч лямки мешков, то одного, то другого, а руки были заняты. И когда подо мной вдруг зачавкало болото, меня сразу осенила мысль: а чего мне, собственно говоря, таскаться с этим ведром? Да ну его к черту! Обойдусь и без картошки, все равно половина уже просыпалась, а рыбу посажу на кукан. Я бы тут же кинул ведро, но во время таких странствий мне всегда почему-то кажется, что кто-то подглядывает за мной и посмеивается. Поблизости никого не видно было, но я не верил своим глазам — а вдруг кто-нибудь под кустом сидит и смотрит? «Куда бы сунуть ведро, чтобы люди не видели? — думал я. — А то будут смеяться: вот тащился дяденька с картошкой, хотелось ему попробовать ее в печенном на костре виде, да не дотащил, бедняга, измучился, бросил на дороге... Куда бы это сунуть незаметно?» Неподалеку стояла на приколе черная, наполовину залитая водой лодка. «Вот куда!» — обрадовался я, быстренько, чтобы никто не увидел, сунул ведро с картошкой в лодку и поспешил уйти подальше отсюда... Болото кончилось, и я стал подниматься в гору по сыпучему песку. Наверху стояли сосны. Поднявшись к ним, я увидел впадавшую в озеро реку. Устье ее — сначала я подумал, что это залив озера, — представляло собой лабиринт извилистых протоков, образовавших множество зеленых островков. Все они были низенькие, чуть подымавшиеся из воды, одни совсем крошечные пятачки, другие побольше, с изрезанными бережками, с мысиками, заливчиками. На одних росла только трава — презаманчивые лужки, раскинувшиеся посреди реки, на других из травы торчали пенечки, тонкие обломанные стволы, а на некоторых росли молодые елочки, сосенки, березки, и одна березка, согнувшись дугой, полоскала в воде свои зеленые косы. «Вот бы где расположиться! Только как туда пробраться?» — думал я, глядя на эту славную березку. Между ярко-зелеными островками на солнце ослепительно сверкала вода, и в этом сверкании я не сразу заметил удильщиков, стоявших, как столбы, и на островках и в протоках с засученными выше колен штанами или в одних трусиках. Ударяя от этого ненавистного мне племени компанейских удильщиков, я пошел дальше вверх по речке. Это и была та самая Коква, которая понравилась мне еще на карте. Чудесная речушка. Низкие луговые берега ее укрыты купами разной древесной заросли, а на верхнем, нагорном берегу растет молодой сосновый лес. Сверху далеко видно, как Коква петляет меж зеленых куп, то вовсе исчезнет, то вынырнет, где разольется озером, где сузится в ручеек и вьется змейкой. Идя верхним берегом, я то и дело спускался вниз, чудилось — вон там замечательное местечко, лучшего не найдешь, чтобы поставить палатку, развести костер. Но каждый раз оказывалось, что это местечко уже занято или женщинами, полоскавшими белье, или купальщиками. Вскоре неподалеку натужно заурчали машины. Сквозь редкий лес видна была проходившая через него грунтовая дорога. На ее ухабах один за другим колыхались длинные, тяжело нагруженные лесовозы. Видно было и как жалобно подрагивали свисавшие с машин вершинки могучих сосновых хлыстов. Вот он где, старый бор! Не дождавшись конца этой похоронной процессии, я опять спустился к Кокве. Речка текла тут в зеленом тоннеле: ветви деревьев с одного берега дотягивались до ветвей, тянувшихся с другого берега, и солнце только кое-где искрилось на густо затененной воде. Вода была прозрачно чистая, и как певуче журчала она где-то близко на перекате! «Только бы найти омуток поглубже», — подумал я, обрадовавшись, что нашел наконец тихое, уединенное место. Сняв ботинки, засучив брюки, я пошел руслом

реки, укрытой зеленым навесом. До чего же приятно было шагать по плотному донному песочку, чувствуя, как прохладная вода ласково обтекает икры. Это ощущение вернуло меня к той далекой поре, когда я бродил по такой же вот мелкой лесной речушке с розовым сачком для охоты на бабочек, который отлично служил мне тогда и для ловли ленивых, дремавших на дне пескарей. Так бы шел и шел этой чудесной речкой, где по колено, а где только по щиколотку в воде. Но все дело портили мои очки, постоянно цеплявшиеся за ветви. Добравшись до открытого лугового бережка, я поспешил выбраться на него. Коква огибала этот лужок. На другой стороне его был омут. Расположившись у него, я сразу подумал, что именно в этом темном омуте с гнилой, торчащей из воды рогатой корягой, в затишке между этой корягой и разным речным мусором, окаймленным желтой пеной, именно тут обязательно должна обитать старая щука. И как только подумал, сразу увидел в воде пятнистую спину большущей щуки. Мотнув хвостом, она уплыла вглубь. Щуке некуда было уйти из омута: речка для нее слишком мелкая. Но я ужасно спешил, и руки у меня, когда развязывал намокшие в воде тесемки спиннингового чехла, а потом искал в промокшем мешке завалившуюся куда-то коробку с катушкой, дрожали от нетерпения. Наконец спиннинг кое-как был снаряжен. Я взмахнул удилищем, но не рассчитал размаха, и блесна зацепилась за ветку дерева, да так крепко, что пришлось лезть на него с топориком и рубить сук. Беда, когда на речке горячишься,— крючок всегда за что-нибудь зацепится, не за ветку, так за штаны. И всегда как раз в этот момент появляются вездесущие мальчишки. На этот раз мальчишки появились целой кучей, прикатили на велосипедах, положили их на траву, сами уселись тут же и уставились на меня, словно я давал им здесь цирковое представление. А к другому берегу омута подъехал на мотоцикле взрослый мужчина, тоже сел и стал раздеваться, поглядывая на меня. Хотя и не в моей натуре ловить рыбу при подобном стечении народа, но не оставлять же в омуте обнаруженную там щуку! И я решил—пусть себе глядят, но эту щуку не упущу. И вот блесна закинута в омут. Предвкушая момент торжества, я кручу катушку. Сейчас щука схватит приманку, рванет, тогда нужно только устоять на ногах и немного отпустить шнур, потом опять подкрутить. Если не по опыту, то понаслышке я уже знал, что щуку сначала надо осторожно подтащить к себе, а затем смело хватать под жабры и быстро-быстро выкидывать из воды. Но, должно быть, притаившаяся под корягой щука не заметила блесну или не успела схватить ее—блесна сверкает уже у самой поверхности воды, а я все еще не чувствую рывков, шнур по-прежнему легко накручивается на катушку. И вдруг замечаю, что за блесной тянется какая-то пятнистая щепочка. Ах, какая досада — опять за что-то зацепилось! Вытаскиваю щепку, хочу отцепить ее. Она выскользывает у меня из рук и, как живая, трепещет в траве. Оказывается, что это вовсе не щепка, а щука, и совсем бы такая же, как та, что на моих глазах ушла вглубь, только, будто, сидя там, под корягой, пока я возился со спиннингом, она уменьшилась раз в сто. Бог ее знает, этот ли жалкий полудохлый шуренок был той щукой, которая показалась мне большущей, или та, большущая, осталась под корягой, но снова закидывать тут спиннинг у меня не было охоты, так как прикатившие на велосипедах мальчишки стали раздеваться, а мотоциклист на том берегу уже разделся и бултыхнулся в воду. Какая это ловля, если тут купаются, а там, за кустами, какие-то голые, в одних трусиках, толстяки вылезли из «Победы» и гоняют по лугу мяч! И только, собрав свои пожитки, я снова зашагал, как меня обогнала промчавшаяся на мотороллере парочка: парень с обтянутой косынкой головой и прижавшаяся к нему сзади девица с хвостом распластанных по ветру волос. Ну, какой толк идти еще дальше? Если там и есть где-нибудь уединенное местечко, то эти на мотороллере, конечно, займут его прежде меня. Как бы далеко ни ушел я от населенных мест, это ничего не изменит, раз все мальчишки обзавелись велосипедами, а те, что постарше, ездят на речку и в лес на автомобилях, мотоциклах и мотороллерах. Нет, надо, видно,

возвращаться в город, и поскорее, а то день идет к вечеру и чайную скоро закроют.

4. ДОМ У ТРЕТЬЕГО КОЛОДЦА

Много раз уже мои бесплодные скитания с удочками в поисках глухих, безлюдных мест заканчивались тем, что я утешал свою душу в какой-нибудь сельской или районной чайной. Еще совсем недавно тут царствовала самая что ни на есть дремучая старина с пивными бочками и нагромождениями винных ящиков у буфетной стойки, с окурками, мокнувшими в лужицах на столовых клеенках, с неумолчным пьяным гулом и с прочно устоявшимся во всех углах сивушно-пивным, колбасно-селечным и табачным духом. Нынче чайная стала другой. Вместо грубых деревянных столов, покрытых клеенками с непросыхающими лужицами, тут появились легкие столики из алюминиевых трубок с голубыми или зелеными, зеркально блестящими столешницами. Окурков вы уже не увидите, разве что под столом, где они скрываются, так сказать, на подпольном положении, потому что курить в чайных нынче запрещается так же строго, как и распивать спиртные напитки. Чисто, тихо и куда свободнее стало в чайной. Если еще недавно иного постоянного клиента только дюжий милиционер мог вытащить отсюда за шиворот, то теперь никто и сам долго не задерживается в чайной. Пьют здесь теперь только фруктовую воду, закусывают пряниками, яблоками, конфетами. Приходят по-прежнему компаниями, но какая бы большая компания не пришла, а берет она всего одну бутылку и по пустому стакану на брата, садится за столик, предпочтительно в дальнем углу, за печкой, и из одной бутылки фруктовой воды, после некоторых манипуляций под столом, утолят жажду два, три, а то и пять посетителей. Выпьют и сразу же выходят на крылечко покурить. Вот тут, на крылечке, и возле ларька напротив, где продажа спиртного не возбраняется, толпятся долго, присаживаются на ступеньки, а то просто на корточки у стены и ведут оживленные разговоры о своем житье-бытье. Иные тут же, на улице, укладываются спать — это после того, как сильно добавят за углом ларька прямо из горлышка четвертинки или пол-литра. Но это все на улице. А в чайной чинно, благонаравно соскучившаяся за стойкой буфетчица отвешивает детишкам конфеты, печенье, пряники, яблоки, мужикам отпускает одни фруктово-ягодные напитки. Можно получить тут и рагу, а в особых случаях яичницу-глазунью. Повариха красноборской чайной, которой я подал выписанный буфетчицей квиток на рагу, изучающе поглядела на меня из своего кухонного окошечка и, немного поколебавшись, спросила: — А может быть, желаете яичницу? Вероятно, что-то навело ее на мысль, что данный случай является как раз таким особым, и вместо так называемого «рагу» — мелких косточек с подливкой — я получил не значившуюся в меню яичницу из трех натуральных яиц. Выйдя из чайной и расположившись со своей поклажей на одной из расставленных по берегу озера скамеечек, я стал размышлять о ночлеге. Тащиться в гостиницу, пожалуй, нечего: если и есть места, то, конечно, спросят командировочное удостоверение, а у меня его нет; не догадался, что на такой случай нужно было захватить какую-нибудь бумажонку, удостоверяющую, что я приехал не просто ловить рыбу, а... ну хотя бы собирать материал о рыбной ловле. По берегу озера, на котором в тот вечерний час кружилась карусель прогулочных лодок, тянулась широкая песчаная улица со скамеечками у высоких тесовых ворот и с крытыми тесом колодцами, стоящими посреди нее на равном расстоянии один от другого и показавшимися мне издали сказочными теремками. В стороне от чайной улица была безлюдной, а тут вокруг трех пьяных, валявшихся на траве у самого озера, толпился и шумел народ. Сначала речь шла о корове, которую кто-то из этих трех мужиков продал сегодня в совхоз, потому что сена в районе не достанешь, косить в лесу запрещено, а потом о его друзьях, усердно помогающих ему пропить полученные в банке деньги за корову. — Нашли благодетеля! — возмущались люди. — Присосались к человеку, сукины дети, как пиявки, ни понятия, ни совести у вас нету, паразиты проклятые... С Игнатом безногим цельную неделю водку хлестали,

когда он корову свою зарезал, а теперь Матвееву доканчиваете, рожн бесстыжие... Бесстыжие безмолвно, словно это и не их поносили, завозились со своим благодетелем, пытаясь поднять его на ноги и заправить ему в штаны вылезшую из-под пояса рубашу. Из этого у них ничего не получалось, потому что у всех троих ноги выписывали отчаянные кренделя. Вдруг из-за угла вывернулся мотоцикл с парнем в голубой майке. Спустив на землю одну ногу, парень крикнул: — А ну, папаня, давай! Живо давай! А то милиция сейчас заберет. Милиционер уже приближался, но прежде, чем он по-дошел, мотоцикл помчался обратно, и позади парня в голубой майке, как тряпка на ветру, мотался его папаня с торчавшим из-под пиджака подолом рубашки. Я ахнул, испугавшись, что сейчас вот, на повороте, человек свалится, но он удержался и даже помахал рукой своим друзьям, оставшимся у чайной. Под пристальным взглядом милиционера они крепко взялись под руку и заколесили по улице в другую сторону. Толпа стала расходиться. Только у открытой калитки соседних с чайной ворот осталось несколько толковавших о чем-то женщин. Я спросил их, не знают ли они, кто тут пустит меня переночевать, и они наперебой заговорили, что сами бы с полным удовольствием пустили, да вот беда... У каждой беда была своя. У одной — мужа нет, уехал в лес за дровами, а без него неудобно, у другой муж дома, но он не любит постояльцев. У третьей детей полон дом — положить негде. Потом стали обсуждать, куда бы меня направить, и сообща решили, чтобы я шел к третьему колодцу: — Как раз против него будет дом под зеленой крышей, с палисадником. Спросите Василия Ивановича. У него чисто, просторно. Один со старухой живет. Идите прямо к нему, больше никуда не заходите. Лучше, чем у него, не найти. Скажите, что тетка Клаша послала. — И тетка Вера... — И тетка Фрося... После такого обнадеживающего разговора я начал подумывать, что, пожалуй, не стоит больше таскаться по речкам с тяжелыми мешками на плечах только ради того, чтобы переночевать где-нибудь в палатке, — поселюсь-ка я лучше на этой улице, буду вставать рано утром, когда хозяева еще спят, выпью молока и пойду на речку налегке, с одним спиннингом, к вечеру вернусь, пообедаю в чайной, посижу на скамеечке у озера, послушаю, о чем толкуют тут, возле чайной, люди, или поброжу по улицам, погляжу... Улица, по которой я шел, мало отличалась от деревенской — ни мостовой, ни тротуаров, и ничто не отделяло ее проезжей части от пешеходной. От забора до забора — песок, плотный, крепкий, как на дне речки, и такой же чистый. По краям улицы кое-где зеленели небольшие лужайки, а посередине ее тянулись широкие светлые промоины — сухие следы дождевых потоков, промывших песок. На перекрестках улицу пересекали глубокие узкие промоины — видно было, что в большие дожди вода стекает вниз по проулкам к озеру бурными ручьями. И там, в конце проулков, на травянистом берегу озера паслись гуси и стояли зеленые садовые столики со скамейками. На них лицом к озеру, блестящему под закатным солнцем, сидели люди. А на улице я встретил только одного пастушка лет пяти-шести, гнавшего двух коз. Он катил за ними на двухколесном детском велосипеде, изо всех сил крутя ногами педали. На перекрестке, когда козы начали метаться, норовя свернуть с улицы, он энергично вывертывал руль то вправо, то влево. Козы все-таки прорвались. Он помчался за ними по проулку, обогнал, завернул назад, на перекрестке снова вырвался вперед и так круто вывернул руль у самых их морд, что козы шарахнулись от него прямо в улицу. Заглядевшись на этого шустрого пастушка-велосипедиста, я чуть не прошел мимо того дома под зеленой крышей, что у третьего колодца. С окнами в резных наличниках, дом этот, укрытый с улицы кустами сирени, выделялся среди соседних домов высоким кирпичным фундаментом, толстыми и гладкими, будто отполированными, бревнами венцов и водосточными трубами из блестящего цинка. Только в районном городке или в дачном поселке и можно увидеть сейчас так ладно, добротнo, на долгий век построенную русскую крестьянскую избу. Эта украшавшая улицу изба выглядела

новенькой, но от нее веяло доброй стариной, так же как от примыкавших к ней высоких крепких тесовых ворот с калиткой. Можно было думать, что хозяин дома — этакий могучий кряж с бородой. Но открылась калитка, и из нее вышел мужчина небольшого роста и совсем мальчишеского телосложения в свободно подпоясанной солдатской гимнастерке. И на его коротко подстриженной голове торчал совсем мальчишеский хохолок. А по лицу видно было, что человеку под шестьдесят. Он поднял что-то с земли, должно быть брошенный прохожим окурок, и кинул от глаз подальше, в кусты, за штaketник палисадника.— Василий Иванович? — спросил я. Хозяин поглядел на меня исподлобья.— Я. А вам что?— Да вот мне сказали, что, может, пустите на квартиру.— Кто это сказал?— Какие-то женщины у чайной... Тетя Клаша, тетя Вера и тетя Фрося,— вспомнил я. Василий Иванович пошарил глазами по земле — наверно, хотел проверить, нет ли у ворот еще какого-нибудь мусора,— и, ничего такого не найдя, опять поглядел на меня исподлобья, не то чтобы сердито, но явно с сомнением.— Так как же насчет квартиры? — спросил я, не дождавшись ответа.— Не знаю, как хозяйка посмотрит. Спросите ее. Пусть решает.—И он показал на женщину, достававшую воду из колодца. Я подошел к ней и объяснил, в чем дело. — Я не против, но не знаю, как хозяин,— сказала она.

Пришлось вернуться к хозяину. Ну, что она говорит? — спросил он. Говорит, что вы должны решать. Он помолчал, потом поинтересовался: Вы к нам, в командировку или по личному делу?— Да вот вздумал рыбу половить у вас тут.— Ах, вот что!— сказал он и, сунув руки в карманы, подтянул брюки. Между тем хозяйка вернулась от колодца. Василий Иванович глянул на нее:— Ну Пелагея Семеновна, решай,— не тяни. Пелагея Семеновна поставила ведра на землю и сложила руки на груди.— Нет это уж сам не тяни. Твое дело решай,— сказала она. Василий Иванович все еще колебался, и Пелагея Семеновна, глядя на него, улыбалась. Наконец вопрос был решен. Только вы уж извините меня,— сказал хозяин,— попрошу у вас паспорт, а то милиция может придраться. У нас на этот счет очень строго.

5. ДАЧНЫЙ КОРОЛЬ

В прошлые годы я жил на даче в одном подмосковном поселке, который в ту пору рос со сказочной быстротой: за два-три месяца на моих глазах появилось несколько новых улиц. Каждую ночь по поселку шныряли грузовые машины с изредка вспыхивавшими и тотчас же гасшими фарами, бегали шоферы, кого-то разыскивали, у машин собирались люди и в темноте торопливо что-то выгружали, а утром, идя к станции, я видел на участках, которые еще вчера были пустыми, груды бревен, теса, кирпича, и возле них уже похаживал со складным метром или рулеткой в руках хозяин нашей дачи Николай Петрович — длинноногий и плоский, как тесина, человек, служивший в пожарной охране какого-то подмосковного завода. Он ездил на службу три раза в неделю на ночь, вернувшись утром, заходил домой, только чтобы сменить форменную фуражку пожарника на кепку и захватить свой плотничный инструмент.— Служба у меня неутомительная, проспешь ночь в дежурке — и два дня свободных, — хвалился Николай Петрович. Зарплата, которую он получал на заводе, не имела для него значения. Николаю Петровичу важна была только справка, удостоверяющая, что он служит в пожарной охране, а то бы ему пришлось платить большой налог, и вообще могли быть всякие неприятности. Сначала я вспомнил о Николае Петровиче только потому, что его дача в то лето, когда я ее снимал, была такой же, как и у Василия Ивановича, — на редкость крепко и ладно построенной избой. Право же, эта изба ныглядела не только основательнее, но и милей окружавших ее затейливых профессорских дач. Но на другой год Николай Петрович обил ее тесом, покрасил в канареечный цвет, к крылечку пристроил террасу, застеклил ее разноцветными стеклышками, и его красивая изба превратилась в дачу, мало чем отличающуюся от соседних с ней профессорских. Однако дело, конечно, не в даче, а в ее хозяине. Нельзя было не подумать о нем,

познакомившись с Василием Ивановичем. Мой бывший дачный хозяин был из тех мастеровых мужиков, отходников или сезонников, как их называли, которые всю свою жизнь разрывались между городом и деревней, а после коллективизации, если уже окончательно потеряли интерес к земле, перебрались в город, если еще не совсем окончательно — куда-нибудь поближе к городу. Многие из числа этих последних обосновались на жительство в подмосковных поселках и укоренились тут под видом разного рода сторожей, пожарников и стрелков заводской военизированной охраны. Николай Петрович давно порвал всякую связь с сельским хозяйством. О своей рязанской деревне он уже забыл, разве что в праздник за вторым пол-литром вспомнит, как он в первый год коллективизации строил колхозный скотный двор, который будто бы так до сих пор и стоит недостроенным, потому-де, что приехавшие в деревню вербовщики с Урала завербовали всех мужиков па пятилетку. Одно только у Николая Петровича осталось от того рязанского мужика, который в сенокос, куда бы он ни ушел на отхожий заработок, обязательно вернется на недельку домой: коровы он теперь не держал, но в сенокосную пору еще не мог успокоиться, пока не набьет свой сарай доверху свежим, хорошо просушенным сеном, выкосив все, что можно выкосить у себя на участке, в проулке возле него, за углом на улице у соседних профессорских дач. Когда я спросил его, зачем ему это, он удивился: — Как можно в хозяйстве без сена? Собаке и той зимой нужно. Собакой, кошкой и несколькими курами, бродившими по чужим огородам, и ограничивалась вся живность в его хозяйстве. И на усадебном участке Николая Петровича, кроме травы, ничего полезного в хозяйстве не росло. Зато каких только сарайчиков не настроил он у себя на дворе, и все такие аккуратные, не сарайчики, а игрушки: один для сена, другой для дров с навесом на столбах на южной стороне — под этим навесом дрова, сложенные высокой и ровной, на диво красивой поленицей, сохли на солнышке с весны до осени; третий с окном — там был склад остатков разных пиломатериалов и плотницко-столярная мастерская с большим верстаком и великим множеством всякого разложенного по полкам и развешанного по стенам инструмента. Другие сметливые мужики, переселившись из своих рязанских, владимирских, калужских деревень в подмосковные дачные поселки, стали тут мастерами на все руки — они и дачу поставят и сарайчик, могут и по печному, штукатурному, малярному делу, обслуживают любые бытовые и хозяйственные нужды дачника. Не в пример этим дешевым мастеровым людям, Николай Петрович знал себе цену и берег свою славу лучшего в поселке плотника и столяра. Заказчики приезжали к нему из Москвы на собственных машинах, договаривались быстро, без торга, давали задаток и месяцами ждали очереди. А если опять приезжали раньше времени и спрашивали, нельзя ли как-нибудь поскорее, то Николай Петрович говорил: — Нет уж, извините, как-нибудь поскорее не могу, не стройконтора. У той планы, темпы превыше всего, ей уж приходится строить лишь бы как. А я беру деньги не за темпы, а за качество, строю так, чтобы хозяин по гроб был мне благодарен и чтобы наследники его благодарили. Так что, если уж обязательно нужно как-нибудь поскорее, обращайтесь к кому-нибудь другому. Есть такие мастера, которым лишь бы задаток получить. — Что вы, Николай Петрович, что вы! Да разве мы!.. Заверяли, что ни к кому больше не пойдут. Только на Николая Петровича надеются. Только Николаю Петровичу доверяют. Робко спрашивали: — Может, в задаток еще дать? — А это уж как вам угодно, сами смотрите, — отвечал Николай Петрович. Он имел дело только с академиками, профессорами и генералами, в общем — с людьми, у которых нет ни времени, ни желания вникать в практические вещи. В области дачного строительства ими владели фантастические идеи, но Николая Петровича это нисколько не смущало — пожалуй, наоборот, было даже на руку, потому что в осуществлении своих фантазий они всецело полагались на него и не считались с затратами. Заказчиков, которые пытались поучать его, вмешиваться во всякие

мелочи строительства, Николай Петрович презирал.— Попутал раз меня бес,— рассказывал он мне.— С пьяных глаз связался с одним ларечником. Тоже мне нашелся дачник! Сколотил себе на участке будку и всю ночь сидит в ней, как собака,—тес сторожит, боится, что растащут, на дачу не хватит. А днем с утра до вечера меня под руками крутится, по срубам лазит, во всякую щель нос свой сует. Ну разве это дачник? Терпеть не могу такую мелочь. «Нет,—говорю я ему,—дело у нас с тобой не пойдет—строй себе дачку сам». Кинул пиджак на плечо, взял топор и пошел. Упаси боже, чтобы я теперь когда-нибудь с мелочью связался. Мелочь, которая никакого уважения к себе не имеет, она и мастера ни во что не ставит. А большие люди понимают, что в деле они без мастера как без рук, и потому относятся к нему с большим уважением. Николай Петрович любил заказчиков, которые приезжали на стройки своих дач только по воскресеньям и только чтобы распить с ним на лужочке под развесистой березой бутылку «Столичной». Уважение, которым Николай Петрович пользовался у застройщиков, высоко поставило его в собственных глазах. Он ходил по поселку, заложив руки в карманы, и вынимал их только, чтоб закурить или выбить трубку или когда подходил к пивному ларьку, где все, кто толпился тут, считали своим долгом поздороваться с ним за руку. Редко встретишь такого довольного собой и 'всем на свете человека, как Николай Петрович. Он поселился в этом дачном поселке после войны, когда семья его еще жила в колхозе. Вернувшись с фронта, не захотел больше мыкаться с одной стройки на другую, решил обосноваться под боком у Москвы, перевезти к себе семью из колхоза. Были у него трудности тогда, главные—с пропиской, но все это уже далеко позади. Больше ему уже не на что жаловаться. Дети получили образование в московских техникумах и институтах, работают в Москве на хороших должностях, имеют свою жилплощадь. У самого дача не хуже, чем у профессора, и зарабатывает, пожалуй, не меньше. Николай Петрович брал сразу по два, а то и по три заказа. Своими руками он выполнял только тонкую плотницкую и столярную работу, грубую делали его подручные. Этих дешевых мастеровых людей вокруг Николая Петровича вертелось много. Собственно говоря, мой бывший дачный хозяин был самым настоящим подрядчиком, но в поселковом Совете он числился бойцом пожарной охраны. Кому какое дело до того, чем занимается пожарник в свободное от дежурства время, тем более если у этого пожарника в доме полстены увешано почетными грамотами за ударный труд на Магнитострое, Уралмашстрое, на Челябинском тракторном и на других 'великих стройках первых пятилеток. Разглядывая эти грамоты, висевшие в рамках под стеклом над двумя вазами с бумажными цветами, украшавшими пузатый комод, я вспоминал многих знатных бригадиров плотницких бригад, о которых писал в начале тридцатых годов, будучи разъездным корреспондентом одной московской газеты. Весьма возможно, что я писал и о нем — Николае Петровиче.

6. ДЕРЕВНЯ В ГОРОДЕ

Бывает, что случайно завязавшийся разговор вызовет какое-нибудь воспоминание, одно, другое, и вдруг годы, события, лица, жившие ранее в памяти разрозненно, начинают сами по себе приходить в какую-то не сразу уловимую связь. С этого-то все и началось у меня в Красноборске, и это увело меня далеко в сторону от первоначальной цели поездки. Мой новый хозяин не взял у меня паспорт, хотя он сам же попросил его.— Да ладно,— сказал Василий Иванович, махнув рукой.— Это я только так, для порядка. Присев на скамеечку у ворот, он предложил мне:— Отдыхайте. Пелагея Семеновна по-прежнему стояла возле своих ведер со сложенными на груди руками, и с лица ее не сходила улыбка.— Значит, приехали к нам из Москвы рыбу половить? —спросила она.— Да, приехал вот. Говорят, у вас тут много щук.— Ловят,—сказала она.—Рыболовов много.— Чего-чего, а рыболовов у нас хватает,— подтвердил Василий Иванович.— А рыбы?— Рыбу я не считал,— ответил он. — Попадается,—сказала Пелагея Семеновна -|

бывает что и большие щуки.— Бывает,— подтвердил Василий Иванович.— Лет пять назад был один такой случай.— А мне говорили...— Говорят,— перебил меня хозяин,— что на Волге щуки сами кидаются в лодки к рыбакам... Всю рыбу подавили, остались одни щуки—их, проклятых, никакая химия не берет. Сами себя жрать не хотят, вот с голоду и кидаются в лодки, а то и на берег. Так вот говорят. «Колочий мужик. С ним о рыбе лучше не разговаривать»,—подумал я и заговорил о лесах, спросил:— А где этот ваш знаменитый Красный бор?— Всюду вокруг был, — сказал он.— Куда ни пойдешь — дремучий лес. А где он сейчас, это надо в лес-промхозе узнать. Рядом тут, на соседней улице. Там у них в конторе диаграммы висят, графики, доска показателей и красное знамя за перевыполнение плана...— Передовой?— А как же! Из года в год перевыполняют план в два-три раза. Скоро весь спелый лес начисто сведут, ни в одном лесничестве нечего будет рубить. Разве что на колхозных вырубках пеньки. Пелагея Семеновна взялась за ведра.— Пойду самовар ставить,— сказала она.— А ты, Василий Иванович, не расстраивайся на ночь-то глядя. Я предложил Василию Ивановичу закурить. Он отказался:— Бросил. Здоровье больше не позволяет.— Помолчав немного, спросил:— Не видели, как колхозники лес свой сводят? Гляжу и никак в толк не возьму: чего это тут задумали строить? Сколько столбов понатыкали, как попало. Подхожу — и что же вы думаете? Никакие это не столбы, а пеньки полутораметровые—колхозная вырубка. Вот до чего дошли: мужику уже наклоняться лень, чтобы дерево спилить... А вас чего лес интересует?—спросил он вдруг.— Да так, думал, раскину палатку, поживу несколько дней .в настоящем лесу,— сказал я. - А-а-а-а,— протянул Василий Иванович и замолк, будто у него сразу пропала охота разговаривать со мной. Несмотря на его мальчишеский хохолок, угрюмым человеком показался мне мой хозяин. Насупившись, сидел он на скамейке, и о чем бы я ни пытался заговорить с ним — ничто больше не находило у него отклика. Он только коротко, двумя-тремя словами, отвечал на мои вопросы, пока Пелагея Семеновна не позвала к чаю. А за чаем, который мы пили в кухне за столом с большим самоваром посредине, Василий Иванович и вовсе оставался безучастным ко всем моим расспросам. На них отвечала Пелагея Семеновна, тоже весьма немногословно, но это восполнялось не сходящей с ее лица улыбкой. С Василием Ивановичем у меня снова завязался разговор только после того, когда я стал рассказывать, как строят дачи под Москвой бывшие рязанские и владимирские мастеровые мужики. Оказалось, что и новый мой хозяин из тех же отхожих мужиков-плотников, что и Николай Петрович, с той лишь разницей, что в то время, как Николай Петрович в поисках высоких заработков с весны до поздней осени кочевал с артелью по дальним стройкам, Василий Иванович, будучи садоводом-любителем, естественно, искал заработков поближе к дому. Когда он работал на восстановлении полусгоревшей в 1917 году шелковой фабрики в своем городе, ему приходилось ежедневно ездить на велосипеде в обе стороны около двадцати километров, но он бы и дальше ездил, только бы жить в деревне, не расставаться со своим садом. Впрочем, в его хозяйстве была еще корова. Начавшийся у нас в связи с этим разговор с Василием Ивановичем вызвал кое-какие общие воспоминания, относящиеся ко времени коллективизации,— тогда в селах отходников все начиналось с коровы и коровой кончалось. Я хорошо помню: все это происходило на моих глазах. Я в ту пору ездил от своей газеты по рязанским, владимирским, калужским и смоленским зимним гнездовьям строителей-сезонников, проводил собрания, агитировал за колхозы, призывал отходников показать пример сознательности и организованности, как это подобает строителям, передовому отряду рабочего класса. Они собирались в избе-читальне, степенно рассаживались по лавкам, молча, отчаянно паля самосад, выслушивали мои уговоры, а потом говорили:— Мы что! Мы не против, мы понимаем, но какой толк от нас колхозам? Птицы мы перелетные, в деревне только зимуем, вот масленицу отгуляем, а там скоро и строительный сезон начнется, разлетимся по

стройкам, в деревне останутся одни бабы, а их разве сагитируешь свести корову на общий двор? Они за корову глаза выдерут — темный элемент, одним словом. Тут мало у кого в хозяйстве было две коровы или больше: две — и то уже хозяйство считалось чуть ли не кулацким. А колхозы создавались с молочным уклоном, что в здешних условиях само собой предполагало обобществление всего молочного скота. В результате коллективизация тут уперлась в единственную у крестьянина корову и на какое-то время замерла на мертвой точке. Это было зимой тридцатого года, в пору так называемых «перегибов». А когда ретивые старатели, стремившиеся но что бы то ни стало завершить организацию колхозов к весенней посевной, начали прибегать к принуждению и угрозам, эти самые отхожие мужики, плотники и каменщики, которые держались в стороне и кивали на баб — их, мол, не сагитируешь, темный элемент, за корову глаза вырвут, — эти самые мужики пришли в бешенство и стали резать свой скот. Кончая с коровами, мастеровые мужики, плотники и каменщики кончали со своим деревенским хозяйством. Началась индустриализация, и они видели, что дело идет к тому, что строительство будет не сезонным, а круглогодичным, а раз так, то, значит, нечего им больше держаться за деревню — надо насовсем перебираться в город, на стройку, полностью переходить на положение рабочего класса. Порезали мужики коров, и пошла масленичная гуляба. Тщетно пытались приезжавшие из района уполномоченные по коллективизации созвать народ на собрание — по избам шли пьяные пиршества. Видал ли когда русский мужик за своим столом столько мяса, сколько его было в ту масленицу в рязанских деревнях под Сасовом, откуда я посылал в редакцию свои корреспонденции, в которых разоблачал этих саботажников коллективизации, торопившихся до отъезда па стройки первой пятилетки ликвидировать свое крестьянское хозяйство? В разговоре с Василием Ивановичем я вспомнил, как в одной рязанской деревне уполномоченные — их было двое — объявили на масленице голодовку. Дали им районные руководители на проведение сплошной коллективизации какой-то уж очень сжатый срок, кажется одну неделю, а мужики, порезав скот, гуляли, никак собрание не проведешь. Вот они и решили воздействовать: легли в избе на кровать, лежат день, другой, третий, встают только, чтобы сходить во двор по нужде, хозяева зовут завтракать, обедать, ужинать, а они головой мотают — дали, мол, зарок голодать. Парни молодые, из московских рабочих, бабам жалко их, соберутся в избе, уговаривают: «Да бросьте вы эту голодовку, после масленицы собрание соберете, а пока мужики гуляют, не морите себя, милые, поешьте блинков». А они в ответ: «Раз ваша деревня такая несознательная, будем голодать, пока не дадите сто процентов». На четвертый или пятый день бабы испугались, как бы районные уполномоченные и вовсе не протянули ноги, — забегали, стали приносить им заявления: «Коли такое дело, согласны, значит, вступить в колхоз». И к концу масленицы коллективизация была проведена в этой деревне на все сто процентов. Уполномоченные послали в район рапорт о своих успехах. А мужики все еще гуляли, валялись по избам пьяные. Когда протрезвели, опохмелились и сразу стали собираться на стройку — вербовщики уже понаехали, торопили. Встал вопрос: кто же в колхозе останется, кто будет готовиться к севу? «Нас это не касается, — говорили мужики, — заявления в колхоз подавали не мы, а бабы, пусть они и готовятся к весенней посевной, а мы завербованы на строительство пятилетки». А тут как раз пришла задержавшаяся в районе газета со статьей Сталина «Головокружение от успехов»... Мужики уехали, предоставив своим бабам самостоятельно решать судьбу созданного на масленице колхоза. Что касается земли, то они давно ее забросили — не пахали, не сеяли, свои наделы отдавали исполу двум-трем односельчанам, жившим от земли, и оттого земля, от роду бедная, без хозяйской заботы совсем истощала. Только за сенокосы еще держались, пока была корова, но с коровой уже покончено. Ну, не все ли равно теперь, останется ли хозяйство в единоличном секторе или перейдет в колхозный,

если хозяйства по существу уже нет и хозяин окончательно решил порвать с деревней и навсегда связать свою судьбу с городом?

— Тут-то вот и есть причина всех причин,— сказал Василий Иванович.— Каких причин? — не понял я.— Причина бед в тех колхозах, где крестьяне издавна жили больше от ремесла, чем от земли.— Ну, а в чем же она, причина причин? — спросил я.— А вот в том-то именно, что мужики наши мастеровые таких специальностей, без которых первую пятилетку нельзя было построить. Началась коллективизация, нужно запущенную землю подымать, корчевать, осушать, а деревня осталась без мужиков. Даже на сенокос перестали приезжать. А сенокос— главное наше богатство. Войдите теперь в положение бабы. Если баба видит, что муж ее вовсе бросил, обзавелся в городе или на стройке другой, так она за колхоз держится, болеет за него душой, а если муж ей аккуратно шлет деньги и пишет: «Жди, говорят, что скоро семью можно будет выписать, квартиру обещают»,— тогда у нее на уме не колхоз, а городская квартира. Вот в чем корень. От него все пошло. Винить тут некого, но учитывать это по линии руководства надо, а раньше не учитывали. Все только давай, давай и давай,— район ваш, говорят, был потребляющий, а теперь после коллективизации должен быть производящим. И что же получилось? Возьму наши Матренки. Было тридцать два двора. В сорок седьмом году, когда мы переехали в город, осталось восемнадцать. Председатель горсовета доклад делал, хвалился, что жилплощадь в Красноборске увеличилась в три раза. А я задаю ему вопрос: «За счет чего увеличилась, товарищ докладчик? Давайте разберемся—не очковтирательство ли это?»—«Как так очковтирательство, — возмущается он,— когда к городу каждый год новые улицы пристраиваются». — «Верно, говорю, пристраиваются, только не новые улицы, а старые, деревенские, и не улицы, а целые деревни. Подсчитайте, говорю, сколько деревень переехало уже в город. Давайте по вашим новым улицам считать. На табличке написано «Первомайская», а люди называют ее Авдотьиной. Почему? А потому, что все дома на эту улицу перевезены из Авдотьино, изба за избой пристраивалась в ряд, чуть не вся деревня со своими избами, сараями, заборами и воротами переехала сюда, и считается она теперь Первомайской улицей города Красноборска. А на Вокзальной целые две деревни уместились—Машино и Матренки, потом к ней Гришино начало потихоньку пристраиваться. Так-то легко увеличивать жилплощадь в городе. Поглядишь на него с колокольни, и верно—расползся, словно огуречные плети с грядки раскинулись во все стороны, уже за лес цепляются усами. А пойдешь по городу— новые дома по пальцам пересчитаешь, улицы новые, а дома старые... Только последние годы стали строиться новые, а раньше все из деревень перевозились». — Ну будет уже тебе, наговорился, хватит. Товарищ, наверное, с дороги устал, отдохнуть хочет,— в какой уже раз перебивала наш разговор хозяйка. Она уже и постель мне приготовила, стояла в дверях, ждала. Хозяин только помахивал рукой через плечо: ладно, ладно, мол, иди, ложись спать. Этот разговор, в котором сегодняшнее вело к давнему, а давнее возвращало к сегодняшнему, затронул Василия Ивановича за живое. К тому же он был в отпуску— завтра не надо рано вставать. Мы бы проговорили с ним всю ночь, но мне неудобно было перед Пелагеей Семеновной—она стояла, ждала и уже не улыбалась — вероятно, боялась, что разговор уведет Василия Ивановича слишком далеко.

7. ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С КРАСНОБОРСКОМ

В добротной пятистенной избе Василия Ивановича самое просторное помещение — полутемные сени с двумя крохотными, похожими на крепостные бойницы, окошечками. Из сеней одни двери ведут в жилую половину, другие — в чулан (эта дверь с высокой приступкой и лазом для кошки), третьи—в крытый двор. Двор этот у Василия Ивановича—целый комбинат, состоящий из множества клетушек специального назначения: для дров, для кур, для разных материалов, инструментов, запасов, и он имеет узкий, огороженный штакетным заборчиком с

калиткой проход, чтобы куры не совались, куда им не следует. Жилая половина избы разделена дощатыми перегородками на четыре части: кухня с русской печкой, обеденным столом и рукомойником у двери, парадный, сплошь устеленный половичками зал с круглым столом, диваном, комодом, занавесками на окнах, фотографиями на стенах и два крохотных спальных закутка. В одном закутке спали хозяева. Пелагея Семеновна предложила постелить мне в другом закутке. Но заметив, что окна в комнатах не имеют форточек и не открываются, так как вторые рамы не выставлены, я побоялся, что тут будет душно, и попросил постелить на кровати, стоявшей в сенях. Вытянув на перине давно уже гудевшие от усталости ноги, я подумал, как это хорошо, что не остался ночевать на Кокве — пришлось бы мне возиться с палаткой, и костром, мучиться в дыму или всю ночь до рассвета отбиваться от комариных полчищ. А здесь, в сенях,— вон какая благодать! Просторно, свежо, чисто, на полу коврик, встанешь на него с кровати—и можно дотянуться до ковшика, зачерпнуть воды из стоящего на лавке ведра. И к тому же один, в тишине—не то что в лесу, где урчат лесовозы и по всем тропинкам носятся велосипедисты и мотоциклисты. Поглядев на прорубленные в толстенных бревнах, похожие на бойницы окошечки, я представил себе те сторожевые крепостицы, которые когда-то строились русскими людьми по краю Дикого поля, где-то там, за Рязанью. В одном из этих окошечек, в том, что выходило в сарай, горела электрическая лампочка. Она была подвешена так, чтобы светила ровно и по ту сторону стены и по эту. Неслышно появившийся в дверях хозяин спросил:— Как вам — оставить свет или потушить?— Мне все равно, как хотите,—ответил я. Хозяин закрыл за собой дверь, и свет сейчас же потух. «Значит, выключатель на той половине избы, что-бы не выходя из нее, можно было осветить сени и сарай,— сообразил я. Да, сразу видно, что хозяин продуманно оборудовал свой дом для жилья. В молодости, лет тридцать назад, мне, пожалуй, уже достаточно было одного этого, чтобы тотчас навесить на Василия Ивановича какой-нибудь ходкий в те времена ярлычок. А сейчас, лежа у него в сенях, я думал: что за человек Василий Иванович? Был такой же отхожий мужик, как и мой бывший дачный хозяин, а теперь? Я уже знал, что он член партии, всю жизнь прожил в своем районе, до последней войны—в деревне под Красноборском, а после— в самом Красноборске, работал на местной шелковой фабрике сначала плотником на восстановлении старых корпусов, потом десятником на стройке новых цехов, а сейчас—прораб на жилищном строительстве этой же фабрики, вступил в партию еще в начале тридцатых годов. Судьба не совсем обычная, даже редкостная для строителя, тем более для строителя ком униста, которого мы представляем себе не иначе, как вечным кочевником, таскающимся со своей семьей или без нее с одной дальней стройки на другую, еще более дальнюю. Конечно, крестьянский дух в Василии Ивановиче еще силен, но... Но что «но»—этого я еще не мог сказать. Утром мы встретились с Василием Ивановичем на высоко огороженном с улицы и от соседей, очень маленьком и на редкость чистеньком дворике, вся площадь которого, за исключением неширокого прохода от ворот до калитки в сад, была занята поленицами коротко напиленных и тонко нарубленных дров, собачьей будкой к одному углу и какой-то глубокой, недавно вырытой ямой — в другом. Василий Иванович с заложенными за спину руками стоял на краю этой ямы и задумчиво глядел на нее.— Что это?— спросил я.— Погреб будет для овощей. Чего месту зря пропадать? — сказал он. Когда я умылся у подвешенного к забору умывальника, хозяин уже был в саду и так же, с заложенными назад руками, стоял возле яблони и что-то разглядывал на ней. Услышав, что я подхожу, он обернулся.— Поинтересуйтесь, хотя хвалиться особенно нечем. Вот в Матренках был у меня сад—это да! Василия Ивановича огорчало, что уже нельзя достать яблони тех сортов, какие у него были в Матренках.— Куда только не ездил за ними—нигде нет. Не пойму—вывелись, что ли?—пожаловался он. Мы поговорили о яблонях, огурцах,

навозе, и, так как оказалось, что в Красноборске навоз нынче на вес золота, опять возник разговор о коровах.— С коровами снова получилась неувязка,— сказал Василий Иванович.— В прошлом году в Красноборске было у населения около полтысячи голов, а сейчас осталось не больше полсотни. Только тот, у кого есть знакомый лесник, и может прокормить корову.— При чем тут лесник?— спросил я.— А при том, что честно сена не достанешь— надо идти к леснику. Лесник у нас— царь и бог. Не успеет утром глаза продрать, как ему уже в ноги кланяются и ставят пол-литра с закуской. Нужны вам дрова — кто может делянку выделить получше? Лесник. Нужно сено— и тут все в его власти. Захочет— закроет глаза— и, пожалуйста, косите, сколько влезет, лесные сенокосы все равно пропадают. Не захочет закрыть глаза — и придется вам резать корову или вести в совхоз... ; И снова Пелагея Семеновна, носившая воду в большой жестяной короб, стоящий на козлах возле огуречных грядок, прервала наш разговор.— Самовар стынет, второй раз придется подогревать,— сказала она. И Василий Иванович умолк. Когда я позавтракал, он спросил меня:— Так, значит, вы работник центральной печати? — А потом: — А к нам приехали рыбу ловить? Он как будто засомневался в этом, и, желая убедить его, что приехал в Красноборск только ради того, чтобы рыбу половить, я стал рассказывать о своих рыболовных странствиях и тех неудачах, которые преследовали меня в этих странствиях. Василий Иванович хмыкал, пожимал плечами, мотал головой. А когда я стал собираться на речку, он посоветовал мне предварительно порасспросить людей, которые знают рыбные места,— сам он этим не интересуется, предпочитает в свободное время покопаться в саду.— Хотите, познакомлю с Алексеем Афанасьевичем,— предложил он.— Учитель. Наш, матренковский, из мужиков; Природолюбец. В детстве змеями увлекался, ловил и заталкивал их в бутылки. Вечно с какой-нибудь змеей таскался. Она у него вылезет из бутылки, а он ее обратно запикивает. Сейчас, к старости, рыбалкой стал увлекаться. И картины рисует. Разные пейзажи из головы. Василий Иванович и Алексей Афанасьевич — соседи. Их усадебные участки примыкают задомы один к другому, но сообщения между ними нет— они разделены глухим забором,— так что нам с Василием Ивановичем, чтобы добраться до его соседа, пришлось пройти по трем улицам, два раза сворачивая за угол. С улицы, мало чем отличающейся от деревенской— просторной, открытой солнцу,— мы попали на улицу, густо затененную вековыми липами, под которыми прочно хранится ее старый мещанско-городской облик. Дома тут приземистые, как сундуки, на вид тяжелые, но чувствуется, что под краской они скрывают трухлявость. Улица песчаная, а от домов веет сыростью, затхлостью, как из погребов. Мы входим в калитку. Перед нами — большая покосившаяся стеклянная терраса, за ней— запущенный, заросший малиной сад с полуразвалившейся беседкой в глубине. Вслед за Василием Ивановичем я вхожу в длинные узкие сени, и он многозначительно показывает мне глазами на толстую связку огромных, длиной во всю стену, удилиц, подвешенную у потолка. По влажно-глянцевитой поверхности удилиц видно, что они недавно срезаны и только что обструганы — еще не просохли.— Серьезно готовится. Экую вязанку нарубил! — сказал Василий Иванович и постучал в дверь. На пороге появился светлоголовый мальчик в пионерском галстуке. Будто на сцену выбежал — все на нем чистенькое, выглаженное. Поздоровался, повернулся и побежал обратно в комнату. Когда мы вошли в нее, он уже сидел за телевизором, спиной к нам. От лип, затенявших дом, и от фикусов, стоявших возле окон, в комнате было сумеречно. Худощавый старик с высоким ежиком седых волос возился за столом с зонтичным каркасом.— Привел к тебе, Алексей Афанасьевич, товарища из Москвы. Мой квартирант. Хочет поговорить с тобой. Рыбалкой интересуется,— сказал Василий Иванович своему соседу и отошел к телевизору. Мы с Алексеем Афанасьевичем поздоровались, и он, протянув мне снятую с зонтика спицу, сказал: — Решил вот сам снасти изготовлять.

— А что толку от твоих снастей? — буркнул глядевший в телевизор пионер.— В прошлом году на десять удочек одного налима поймал, а в нынешнее лето еще ни одного.— Слышите? Вот как они рассуждают! — Алексей Афанасьевич развел руками.—Разве дело в том, сколь-ко поймал?! - Правильно рассуждают,— сказал Василий Иванович.—Недаром в телевизоре удильщиков никогда не показывают. Алексей Афанасьевич пожаловался мне на внука — на речку не затанешь, а потом почему-то вспомнил, как однажды, в детстве еще, увидел стайку крупных толстомордых голавлей, проплывшую на перекате так близко, то в прозрачной воде видны были их раздувавшиеся жабры, и как гнался за этой стайкой по берегу, пока она не исчезла из глаз.— Знали бы вы, сколько у нас рыбы было!—сказал он.— А сейчас? — спросил я.— Конечно, уже не то, раз мельниц не стало. Василий Иванович, присевший к телевизору, услышав про мельницы, живо обернулся.— На Дреме пять было и на Кокве три. Теперь только гнилые сваи торчат.— А все-таки, Василий Иванович, рыба еще есть,— сказал Алексей Афанасьевич. Мой хозяин махнул рукой: какая там рыба!— Есть, есть,—повторил Алексей Афанасьевич.— голавль, и щука, и налим. Только надо знать, где, когда и как ловить. Он принес небольшую, гладко обструганную и за-стренную с одного края дощечку с дырочкой посередине, вставил в дырочку спицу, скрепленную под углом с другой спицей, показал мне это сооружение, похожее на самодельный детский кораблик, и принялся объяснять, что в принципе это тот же рыболовный кружок, но с ним можно обойтись без лодки—запускать с берега на шнуре с грузилом.-- Мое собственное изобретение,— похвалился Алексей Афанасьевич. Пока я занимался изучением этой новой, в деле еще не испытанной ее изобретателем рыболовной снасти, Василию Ивановичу наскучило сидеть у телевизора, и он, заложив руки за спину, начал похаживать по комнате, взглядывая висевшие на стенах картины.— А у тебя, Алексей Афанасьевич, я вижу, новые творения из лесной жизни,—сказал он. Я оглянулся и тотчас вскочил—вот они где, эти дремучие красноборские дебри! Лесная речка, заваленная буреломом,— непроходимая трущоба. Освещенный луной бережок, шалашик, костер, рыбак в челноке, а вокруг—черная лесная тьма. Первый солнечный луч, проникший в хвойную чащу. Медведь, вылезавший из берлоги. Белка, выглядывающая из дупла. Умывающийся лапками заяц на поляне. Волчиха, играющая с волчатами в песчаной пещере под корнями подмытой рекой сосны. Лесное болотце, покрытое голубым ковром незабудок. Черный пенек в зелено-красном ожерелье спелой земляники. Длинноногие подосиновики в высокой траве. Семейство толстоголовых боровиков во мшистом ельнике.— Это все с природы? — спросил я.— С природы у меня ничего нет,—сказал Алексей Афанасьевич.— Кое-что по памяти, а больше по воображению.— Я же вам говорил: у него одни фантазии из головы,— напомнил мне Василий Иванович.— Придет с рыбалки и дома фантазирует на полотне.— Ну и что ж! — Алексей Афанасьевич пожал плечами.— Раньше я копировал с открыток, из журналов, а потом попробовал из головы и обрадовался — получается! Оказывается, если есть воображение, можно. Почему-то думают, что нужно обязательно с природы,— это неправильно. Живописи Алексей Афанасьевич не учился, умения у него в этом деле немного, но мне кажется, что ему не так уж важно, хороши его картины или нет. **Он** художник для себя. Вот с кем пойти бы на рыбалку, посидеть ночью у костра! К моему огорчению, Алексей Афанасьевич сказал, что завтра отправляется с агитбригадой в село Петухи проводить вечер вопросов и ответов.— Трудное село,— сказал он.— Вот-вот,— живо подхватил Василий Иванович.— И вопросы там будут трудные. К примеру, о грече — кто это дал установку косить ее на силос? Алексей Афанасьевич усомнился насчет установки.— А если скосили на силос — значит, не хотят больше есть гречневую кашу, так, что ли? —сердито спросил Василий Иванович. — Это не по моей части будет. С нами едет агроном...— Ах да, ты ведь по части космоса! —Василий Ива-нович махнул рукой. Я простился с Алексеем Афанасьевичем,

договорившись, что мы пойдем с ним на рыбалку сразу же, как только он вернется из Петухов. На дворе под ноги Василию Ивановичу кинулась его маленькая белая собачонка Пушок, каким-то чудом оказавшаяся тут. Она радостно визжала и прыгала, норовя лизнуть руку хозяина, будто не чаяла уже увидеть его. Ах ты, гадкая какая!—сказал Василий Иванович ни какие заборы не помогают. Всюду пролезет. Выйдя из калитки на улицу, Василий Иванович спросил— Вы куда думаете направиться?— Пройдусь, погляжу на город, на речку схожу,—ответил я.— Ну что же, познакомьтесь с Красноборском,— сказал он, а затем, немного потоптавшись в нерешительности, предложил:—Если не возражаете, пройдемся вместе. Покажу вам наш город. Летом много москвичей приезжает к нам на отдых, но они все на речке толкуются —город их не привлекает. И мы пошли следом за побежавшим вперед Пушком. Поговорили об Алексее Афанасьевиче.— Член Общества по распространению культурных и политических знаний,—сказал о нем Василий Иванович, и это прозвучало у него если не с усмешкой, то и не совсем уважительно, как мне показалось. В заключение он сказал:— Хороший мужик. Только чересчур тихий. Против начальства не подымет голоса. Самостоятельности не хватает.— Да, кстати, что это за установка такая — гречиху на силос? — спросил я.— Подлая практика любую правильную установку повернет по-своему,—со злостью сказал он.—Установка на силос, план по нему большой, за невыполнение бьют, вот и косят на силос все без разбору, даже гречиху. Свернув за угол, мы вышли на широкую улицу, поднимающуюся от плотины на Кокве к вершине горы, где находится центр Красноборска. На этой улице уже меньше тени, старые липы стоят тут не в ряд, а кое-где, далеко друг от дружки, и трава тут зеленеет только на бровках канав. Среди деревянных домишек с крылечками, заборами, садиками тут высится несколько двухэтажных кирпичных зданий. Это тоже жилые дома, но не похоже, чтобы они были построены для жилья,— уж очень какие-то уныло голые. Василий Иванович сказал мне, что это бывшие шелковые фабрики, которых до революции в Красноборске насчитывалось несколько десятков, и я подумал о судьбе всех этих маленьких древних городков, окружающих Москву. Когда-то они славились монастырями, окрестными поместьями родовитой знати, потом своими мануфактурными фабриками. А сейчас что с ними—захирели, заглохли? Почему только московские охотники, рыболовы, туристы и дачники вспоминают о них сейчас? И я вот, если бы не рыбалка, так, может быть, никогда бы не узнал, что в ста с небольшим километрах от Москвы существует древний русский город Красноборск. Василий Иванович, когда я заговорил с ним об этом, сообщил мне, что Красноборск сейчас — один из самых крупных в стране центров шелковой промышленности.— А что о нем не трезвонят в газетах и по радио,— сказал он,— так чего трезвонить? И раньше он был известен как шелковый город—всех московских купчих одевал. Конечно, наша новая фабрика, вон поглядите,— он показал назад на видневшиеся за плотиной, возле леса, высокие корпуса и трубы, те самые, которые вчера заставили меня свернуть с Дремы на Кокву,— гигант в сравнении с карликами бывших наших фабрикантов, одна всех их и во много раз перекрыла по производительности, но разве этим нынче кого удивишь? Тем более не где-нибудь в пустыне, а под Москвой.— И неожиданно заключил:—Нынче все, как туристы, привыкли глядеть вдаль, там все новое ищут, а у себя под носом ничего не хотят видеть. Когда мы стали подыматься в гору, мимо нас с горы к плотине промчался мотороллер со знакомой уже мне парочкой—вчера на Кокве они меня обогнали. И так же, как вчера, у прижавшейся к спине парня девицы волосы стелились по ветру хвостом. Спустя несколько минут они промчались назад, в гору. А только мы поднялись на городскую площадь, как они вдруг вывернули из-за угла и чуть не сбили меня своею верткой машиной. — Наши шелковики,— сказал Василий Иванович.— Он—поммастера, она—ткачиха. Недавно женились, купили мотороллер и уже с месяц носятся на нем по городу целые дни взад и вперед.

Одурели. Никак не могут прийти в себя от счастья...

8. ЗНАКОМСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Увидишь ли еще где такое тесное соседство наших дней с глубокой древностью, как на городской площади Красноборска, расположенной на плоской вершине горы? Здесь над обрывом к реке стоял монастырь, породивший Красноборск и в начале двадцатых годов взорванный на кирпич, но не совсем удачно—колокольня все-таки уцелела. Увенчанная пожарной вышкой, похожей на садовую беседку, она стоит в окружении монастырских развалин, но их почти не видно — скрывают разные скороспелые постройки, причудливо нагроможденные возле колокольни: керосиновая лавка, гараж, авторемонтная мастерская, хлебозавод. Над крышей хлебозавода в колокольне проделана дверь, и к ней с крыши поднимается крутая деревянная лесенка.— По этой лестнице пожарники раньше подымались к себе на вышку,— сказал Василий Иванович.— А теперь? — спросил я.— Громоотвод забыли поставить, и одного пожарника молнией убило. С тех пор больше не подымаются,— ответил он не смеясь.— И дверь забили, чтобы мальчишки не лазили. Церковники по этому поводу целую кампанию провели и даже ставили в горсовете вопрос о закрытии керосиновой лавки в противопожарных целях. Тут же, у колокольни, жмутся рыночные прилавки и ларьки. Со стороны площади их прикрывает длинное здание гостиницы с арками по фасаду. Это наследие прошлого стоит в неприкосновенности и используется по своему прямому назначению—в торговых целях, но вид у него запущенный—облупившиеся арки, под ними щербатый каменный пол, выбитые, стертые ступени.— У горторга не подымаются руки реставрировать купеческую старину,—сказал Василий Иванович. Современность на центральной площади Красноборска представляют три крупных новых здания, и каждое по-своему: одно торжественно — это Дворец культуры с шеренгой внушительных колонн; другое строго официально—здание райкома партии с высоким, массивным подъездом, похожим на трибуну; третье — веселый, канареечного цвета раймаг, с десятком просторных зеркальных витрин, в которых висят белые, тоже зеркально отражающие прохожих, шары. К этой части площади, покрытой асфальтом, примыкает скверик. Когда мы проходили через него, я поглядывал на расставленные по аллее большие, выполненные красками на полотне портреты красноборских передовиков.— А вот и она сама, наша главная героиня,—шепнул мне Василий Иванович, показывая глазами на бежавшую по скверу навстречу нам женщину с двумя орденами на дешевом сереньком, узковатом в плечах жакете.— Куда это вы, Шурочка, так торопитесь? — спросил он ее.— Ох и не говорите, Василий Иванович!—воскликнула она, остановившись.—Заставили выступать по радио, вечером торжественное заседание — опять надо выступать, а у меня еще стирка не закончена, белье кипятится, полы не вымыты, обед не готов. Прямо хоть на части разорвись! Совсем не учитывают, что у меня семья. Женщина шумно перевела дыхание и снова побежала. Я успел разглядеть только, что она уже немолодых лет и довольно полная—таким бегать трудно, а с орденами и вроде бы не к лицу. Василий Иванович вернулся к портрету, мимо которого мы уже прошли.

— Узнаете? — спросил он.

Я не узнал, но по орденам догадался, что это она — промчавшаяся по скверу Шурочка. На портрете Шурочка выглядела сурово-мужественной. Подпись под портретом гласила: «Александра Николаевна Круглова, ткачиха шелковой фабрики...» Далее следовали ее высокие производственные показатели. Я обратил внимание на то, что один из орденов на портрете выделяется свежей краской. Только что получила, и уже пририсовали,— сказал Василий Иванович.— Теперь, бедную, совсем замучают. Стонет. Двое детей, муж непутевый, а домой забежать некогда—то собрание, то конференция, то слет, и всюду хотят, чтобы выступила или хоть посидела в президиуме. Вчера из Москвы вернулась, сегодня

опять мотается... Праздник у нас сегодня большой—справляем столетие фабрики, вечером торжественное собрание во Дворце культуры. Василий Иванович давно знает Шурочку Круглову с тех пор как она, сразу же после окончания школы семилетки, пришла со свернутыми в узел одеялом и подушкой из своей деревни в Красноборск, к какому-то родственнику, чтобы тот помог ей устроиться ученицей на шелковую фабрику, и этот родственник, боявшийся, что его оштрафуют за непрописанную в милиции жилищку несколько суток держал ее запертой в чулане. Пройдя сквер, мы вышли на другой край площади, к двухэтажным багрово-кирпичным казенным зданиям прошлого века. За этими зданиями, в которых ныне располагаются районные учреждения, кончается центр Красноборска—далее снова тянутся незамощенные улицы с деревянными домишками, садиками и огородами. Мы пошли по улице, спускающейся к Дреме. Нас обгоняли велосипедисты и велосипедистки, мчавшиеся вниз. День был жаркий, и все уличное движение направлялось тут к речке, сверкавшей в зеленой долине под горой. И белая пушистая собачонка Василия Ивановича, суетливо тыкавшаяся туда-сюда и все, на что натыкалась, обнюхивавшая, вдруг понеслась вниз, как подхваченный ветром ком пуха. Василий Иванович рассказывал, как Шурочка в войну ходила зимой на фабрику, завернувшись в одеяло: пальто у нее было очень худое. У крайнего над обрывом домика он остановился, посмотрел на меня исподлобья и сказал: — Может быть, зайдём к дяде Егору? Он-то лучше всех знает, где какая рыба водится, только скажет ли... Самый старый шелковик в Красноборске. Лет шестьдесят проработал на станке, а теперь промышляет рыбой, грибами, ягодами. Дремучий старик. Если захочет, такое расскажет... Я входил в калитку следом за Василием Ивановичем с чувством, подобным тому, какое испытывал на рыбалке, когда мой неподвижно стоявший поплавок вдруг круто нырнул в воду— ох и рыба же клюнула! К дяде Егору мы попали не вовремя: у него на кухне сидел какой-то лысый гость в просторной рубахе, и когда Василий Иванович здоровался с хозяином, я заметил, что гость быстренько убрал со стола под стол уже наполовину пустую бутылку водки. Потом он пододвинул к самовару свою пустую чашку и стал наливать в нее чай. В сущности, маскировка эта была и ни к чему, так как на столе стояли тарелки с квашеной капустой и прошлогодними солеными грибами—опятами и зеленушками,—служившие достаточно веским доказательством, что беседа хозяина с гостем протекала не за чашкой чая. Знакома дядю Егора со мной, Василий Иванович хитро поглядывал и на него и на меня, будто следил за тем, какое впечатление производит на нас то, что он говорит при этом. — Товарищ из Москвы, представитель печати, хочет побеседовать с вами насчет рыбной ловли,— говорил он.—Побеседуйте, а я пока на улице постою, а то мой Пушок куда-то помчался — вернется и будет беспокоиться, что я пропал.—Сказав это, он сейчас же вышел из дома. Дядя Егор—маленький седой старичок, со строгим иконным лицом,—не поднявшийся при нашем появлении, сидел боком ко мне. Я стоял, ожидая его приглашения сесть, но он молчал. Молчала и хозяйка — высокая прямая старуха, пившая чай с блюдечка, которое она держала обеими руками так высоко, что могла пить, ничуть не наклоняясь. Потягивая из блюдца, она посматривала на меня краешком глаза. И лысый гость, сидевший напротив нее, в другом углу, тоже посматривал на меня искоса. А дядя Егор смотрел мне прямо в глаза, и взгляд его был откровенно недружелюбный. Растерявшись, я не знал, что делать. Не такой у меня был разговор, чтобы его легко было начать с человеком, который не приглашает сесть и смотрит на тебя волком. А повернуться и уйти ни с чем обидно было, да и выглядело бы это очень смешно, и я клял в душе Василия Ивановича, почему-то вдруг бросившего меня тут одного. Дядя Егор заговорил первый. Что вам нужно от меня, гражданин? — спросил он. В давнюю пору моей газетной работы, когда в разгар коллективизации я ездил по деревням, бывало такое: встретит тебя в избе угрюмый мужик открыто неприязненным взглядом, и, как ни

пытаться вызвать его на разговор, уйдешь, не вытянув внятного слова. Тогда это, „ понятно-классовая борьба, кулаки, подкулачники. А сейчас—откуда такая враждебность у этого старого шелковика? Очевидно было, что разговаривая с ним мне не удастся, раз он так упорно не приглашает сесть, но все же я попробовал—сказал, что, откровенно говоря, интересуюсь не столько рыбой, сколько прошлым Красноборска— как тут шелковики до революции работали на фабрикантов. Это вы насчет эксплуатации?— спросил он, усмехнувшись, и дернул головой. Гость его хихикнул.—Ну не только—сказал я.—Понимаю,—сказал дядя Егор.—Хотите написать как жили шелковики раньше и как живут сейчас... Так вот гражданин, ничего об этом рассказать не могу. Напрасно я пытался убедить его, что прошлым Красноборска заинтересовался просто так, как любитель русской старины,—он пропустил это мимо ушей. А когда я спросил его, не согласится ли он все-таки поговорить со мной если не сейчас то потом, он повторил:—Так вот гражданин, ничего рассказать я вам не могу. Надо было уходить, но я медлил, думая, что происходит какое-то недоразумение и оно сейчас разъяснится. Хозяйка и гость невозмутимо потягивали из блюдец чай, а хозяин напряженно глядел на меня, то ли стараясь разгадать мои истинные намерения, то ли просто ожидая, пока я уберусь. Потом он вдруг заговорил, обращаясь к сидящему за столом лысому гостю с кудрями рыжей бородкой: Плохо жили раньше, а зато хочешь—работаешь, хочешь—в лес по грибы пойдешь. И загуляешь, так никто тебе слова не скажет.—Конечно,—отозвался гость,—раз у тебя свой станок дома никто не может заставить работать—хоть всю неделю гуляй.—И, захихикав, стал вытирать платком лицо. — Так вот, гражданин, ничего рассказать вам не могу,—обернувшись ко мне, снова повторил дядя Егор. Мне не оставалось ничего больше, как извиниться и выйти. Василий Иванович, поджидавший меня со своим Пушком на улице, хитро улыбался. — Ну как, поговорили?— Поговоришь с ним! — Я махнул рукой. — А стоило бы поговорить,—сказал Василий Иванович.— Шестидесять лет проработал дома на своем станке вдвоем со старухой посменно, один ночью, другая днем, а потом сжег его в печке со злости на фабрику—на ручном станке не угонишься за новыми нормами. Дядя Егор, оказывается, известная в городе личность, в своем роде последний могиқан кустарного промысла, с которого когда-то началось в Красноборске развитие шелкового производства. Кустарные артели шелковиков существовали тут до недавнего времени. Сейчас они перестраиваются на фабричный лад. А что касается кустарей, работавших на дому одиночками или семьями, то они кончили свой век много раньше. Дядя Егор продержался дольше всех. Этот упорный, злой старик сжег свой станок всего несколько лет назад—сжег, но все еще не хочет примириться с тем, что время домашнего промысла уже давно минуло. Нет, видимо, не без тайной мысли привел меня Василий Иванович к дяде Егору и вообще вызвался пройтись со мной по Красноборску. Чего тут только не увидишь, если будешь внимателен и не слишком тороплив! В этих маленьких старых русских городках прошлое и сегодняшнее, городское и деревенское живут хотя и не в мирном соседстве, но бок о бок. Все здесь протекает на виду, все знают друг друга—живи и пиши о том, чем живешь ты, твои соседи и знакомые, что происходит вокруг тебя. Спустившись с горы к Дреме, мы вышли на перекинутый через нее узкий пешеходный мостик с дощатым настилом и жердяными перилами. Идя по такому мостику, какой бы он ни был шаткий и скрипучий, нельзя не остановиться и не поглядеть на текущую у самых ног воду. Даже проходивший навстречу нам мальчишка с велосипедом загляделся на нее. Дрема тут неглубокая, вода в ней чистая, будто только что вытекла из родника,—желтое песчаное дно просвечивается далеко-далеко от моста, а возле моста каждая песчинка видна в отдельности, словно сквозь увеличительное стекло. Вольно течет здесь Дрема, вся обнаженная, открытая солнцу, в низких луговых берегах, которые тут и там, спускаясь к воде, переходят в пологие песчаные пляжи. Только в одном месте, в стороне от города, лес темным и острым мысом подходит к

крутому, нависающему над рекой берегу. Туда катились береговой, вытоптанной в траве тропинкой велосипедисты, обгоняя их, прыгал на кочках мотоциклист. И мы пошли туда, минуя небольшие окаймленные травой и мелкими кустиками и пляжи, где под растянутыми на колышках простынями гнездились и молодые парочки и папы-мамы со своими отпрысками. Василий Иванович сказал, что в старое время тут весь берег был захвачен местными фабрикантами, купцами и попами—каждый толстосум имел свой собственным пляж. Потом вдруг он раздраженно заговорил о каком-то Федьке Храпове, с которым, если я интересуюсь всякими баснями о старине, обязательно нужно поговорить: пустой человек, ни на что не годен, но о монахах, купцах и фабрикантах может болтать три часа подряд, был первым комсомольцем в городе, ячейку на фабрике организовал, а выродился в пустельгу, на каких только должностях не перебивал на фабрике—теперь уже не поймешь, на какой должности сидит, кабинет рядом с директорским, числится заместителем начальника отдела кадров, а собирает какие-то материалы по истории не то фабрики, не то города. Я уже чувствовал, что Василий Иванович из тех, кто каждого мерит по своей мерке,—беспристрастия от него не жди! Но чего его вдруг прорвало? Даже мальчишеский хохолок на голове моего квартирного хозяина воинственно затрясся. Замолчав, он сунул руки в карманы и сердито подтянул штаны. Я уже заметил, что это плохой признак—теперь надолго замолчит. Мы поднялись к старым соснам, стоящим высоко над рекой. С этой круто обрывающейся горушки видны были излучины Дремы, большой песчаный пляж, множество купающихся и загорающих на солнце людей. Были тут и удильщики, правда их было всего лишь два — по одному от каждой из двух разновидностей рыболовов-любителей, о которых я уже говорил. Один, стоявший на пляже в самой толчее купающихся, размахивал над их головами удочкой, как кнутом. Поминутно вытаскивая какую-то мелочишку, он кидал ее в стеклянную банку с водой и при этом победоносно оглядывался—вот, мол, какой добычливый. Другой, одиноко сидевший в стороне от пляжа, под кручей берега, обхватив руками колени и пригнувшись к ним, не спускал глаз с поплавков трех своих длинных, воткнутых в берег удочек. Этот ни разу не шевельнулся, так же как его поплавки, и всей своей согбенной фигурой выражал мрачную решимость дожидаться, пока начнет клевать крупная рыба, сколько бы для этого ему ни пришлось просидеть тут, под нависавшей над ним кручей. Мы с Василием Ивановичем выкупались, а потом, пока обсыхали на пляже, я поглядывал на обоих удильщиков и думал, что крупную рыбу мне все равно, видно, не удастся поймать—терпения не хватит сидеть, а ловить мелочь, размахивая удочкой, как кнутом,—занятие скучное и пустое. — Да-а,—протянул я со вздохом. Василий Иванович, должно быть, угадал мою мысль. — Какая тут, на пляже, ловля!—сказал он.—А за электростанцией—там, говорят, ловят. — Далеко?

— Километров двадцать будет. С попутной машиной надо добираться. Всегда вот так: куда бы ни приехал, говорят, что рыба не здесь, а где-то там, еще дальше. Нет уж, довольно таскаться без толку по речкам, лучше походить по городу, познакомиться здесь с людьми. Вот хотя бы с этим Федькой Храповым, которого так ругал мой хозяин. Интересно, чего это он вдруг ополчился на него? И повода как будто не было. Первый комсомолец в городе! Я тоже был одним из первых, и в таком же небольшом тихом городке, как Красноборск, с уютными купеческими особняками, стоявшими в глубине фруктовых садов. Самый затейливый из них—с башенками, балкончиками и крутыми винтовыми лесенками—был отдан нам под клуб. Там наши заводские ребята ухаживали за девушками с курсов по охране материнства и младенчества, охмладовками,—так, кажется, называли их, наших первых комсомолок, бывших учениц женской прогимназии. Я носил тогда красную рубаху, из кармана у меня торчала наводившая страх на обывателей рукоятка нагана. Василий Иванович, когда я сказал ему, что с Федей Храповым мне действительно хотелось бы познакомиться, но, конечно, не из-за его басен, а просто

так, как старому комсомольцу, ответил сердито: — Наверное, тут где-то пузо свое греет. Обогнал нас на велосипеде. Воображает о себе бог весть что.— опять повторил: — Пустельга. Искать его на пляже Василий Иванович не стал — только так, для вида, поглядел вокруг—и заговорил о даче какого-то графа, которая когда-то стояла тут на горюшке, в лесу над рекой: какой она была оригинальной и сколько в ней летом собиралось гостей, приезжавших из Москвы на лихих тройках с бубенцами. Мне показалось, что Василий Иванович заговорил об этой даче лишь для того, чтобы замять некстати завязавшийся разговор о Феде Храпове,—и поэтому мне неловко было просить, чтобы он познакомил меня с ним. Но когда мы, возвращаясь с пляжа, поднялись на луг, Василий Иванович сказал: — Федька!—И кивнул на человека в светлом костюме и в шляпе из тонкой серой, похожей на бумагу капроновой соломки, который стоял спиной к нам, держась одной рукой за велосипед, а другой вытряхивая песок из своей сандалии.—Федька!—окликнул он.—Товарищ вот хочет поговорить с тобой. Тот медленно повел головой, посмотрел на нас, отвернулся и стал надевать сандалию. Долго возился он нею, поставив ногу на раму велосипеда, пока наконец, кряхтя и отдуваясь, застегнул пряжку, потом потоптался - не остались ли еще в сандалии песчинки,— подергал и отряхнул брюки и только после этого опять повел головой в нашу сторону. «Ну какой же это Федька?» — подумал я. Мой квартирный хозяин в своей выцветшей и залатанной на локтях солдатской гимнастерке выглядел рядом с ним замухрышкой. Такому важному человеку не скажешь запросто: «Давайте познакомимся, я тоже из первых комсомольцев, ходил в красной рубашке» и тому подобное... Мне пришлось измышлять деловой предлог для разговора. Представившись, я сказал, что хотел бы поговорить с ним о прошлом Красноборска, так как слышал, что он работает сейчас над историей его.— Не сейчас, а уже много лет,— поправил он и представился: — Федор Иванович Храпов. Затем я узнал, что его многолетний труд в основном можно считать законченным, осталось только подготовить к печати, то есть литературно оформить собранный материал, и что с отрывком из него можно познакомиться в районной газете, но, к сожалению, редакция недооценивает того огромного воспитательного значения, которое имеет для молодежи изучение прошлого своего города, и поэтому отрывок дала маленький, хотя собиралась дать целый подвал, и что вообще редакция совершает политические ошибки, допускает неточные формулировки, о чем он уже не раз сигнализировал райкому. Василий Иванович тихонько вздохнул и отвернулся: как видно, все это он слышал уже сотню раз и больше у него сил нет слушать... А Федор Иванович продолжал рассказывать о своем историческом труде, на который он затратил много лет,— о том, во что стала ему перепечатка материалов на машинке, он уже не будет говорить, хотя денег на это ушла уйма. А потом сказал: — Простите, тороплюсь. Вечером можете послушать меня во Дворце культуры, выступаю там на праздновании столетия фабрики. Приходите.— И сунув мне руку, не глянув на Василия Ивановича, взгромоздился на велосипед и закрутил ногами педали.— Ему бы на «ЗИЛе» ездить, а не на велосипеде,— сказал Василий Иванович. С этим нельзя было не согласиться. Видно было, что у человека большой стаж руководящей работы, и если он сейчас не занимает высокой должности, то только потому, что кто-то был несправедлив к нему, кто-те недооценил его, а сам себе-то он цену знает. Мы пошли следом за покотившимся на велосипеде Храповым, и, пока тот не скрылся из виду, Василий Иванович честил его на все корки. Они около сорока лет работают бок о бок, лет тридцать состоят в одной парторганизации и, видимо, уже давние недруги. Василий Иванович все еще не может забыть, как в свое время, будучи начальником орс, Храпов взялся скоростным методом решить мясную проблему и дал обязательство вырастить в своем хозяйстве миллион кроликов.— Начал он с того, что велел построить загон побольше,—рассказывал Василий Иванович.— Огородили тесовым забором большой пустырь за фабрикой, запустили туда два-три

десятка кроликов, и контора орс засела за разработку плана на миллион голов. Недаром же говорят: плодятся, как кролики. Плодятся-то они и плодятся, но кормить надо, а об этом впопыхах позабыли. Потом Храпов ругал всех за то, что его ввели в заблуждение. Какой, мол, толк от того, что кролики плодятся, если их никаким забором не удержишь— под землей пролезают, проклятые. С голоду разбежались все до одного. Перевели за это Храпова из начальников орс в начальники жилищно-коммунального отдела. Есть еще у нас Кукушкин такой. Был директором деревообделочного комбината, а в прошлом году его рекомендовали председателем колхоза. Спрашиваю у райкомовцев: «Неужели другого не нашли? Он же сроду в деревне не жил, гречиху от клевера не отличит».— Ничего, говорят, что не отличит, зато хороший руководитель масс, сумеет направить все силы на главное». И что же получилось? За что с него сейчас хотят голову снимать? Лозунг дан, что главное—силос. А кукуруза не выросла. Это он-то и велел скосить на силос гречиху, оставил нас без каши. Эта скошенная на силос гречиха в Петухах не дает Василию Ивановичу покоя. Заговорив о ней, он стал вспоминать, в каких тут деревнях раньше лучше всего родилась гречиха, в каких—горох, где заливные луга заросли кустарником, где вовсе заброшены лесные сенокосы. Как тут опять не подумать было о Николае Петровиче, который сейчас строит дачи под Москвой и давно уже забыл о своей рязанской деревне,—какое ему теперь дело до нее? Обойдя широкую низину Дремы, Василий Иванович вывел меня на незнакомую еще мне окраину Красноборска. Это уже настоящая деревня, только какая-то очень неприятная — будто еще не обжитая, хотя почти все избы старые, почерневшие от времени. Большинство домов стоят голые: вокруг ни деревца, ни кустика, ни забора — или серый, вытоптаный пустырь, или сплошная картофельная посадка с прилепившейся к ней сбоку одинокой грядочкой лука. И на огороженных усадьбах чаще всего растет одна картошка. А если из картофельной ботвы торчат рядом маленькие, только что посаженные яблоньки с двумя-тремя чуть зеленеющими веточками, то здесь и это уже радует глаз. Правда, чуть подальше от окраины унылая деревенская улица заметно оживляется: тут уже и заборы, и садики, и отдельные подновившиеся избы—одно или два свежих светлых бревна по низу темного, почти черного сруба,— и старая изба выглядит уже веселее, а с новой дранковой или железной крышей и совсем весело.— Это Гришино пристроилось к городу,—говорит Василий Иванович.— Сначала сюда две избы перевезли. Эта вот, с двумя новыми нижними венцами, крайняя была, а сейчас к ней сколько пристроилось...—Он считает и объявляет:—Двенадцать уже... А это вот наша деревня—Матренки.—Василий Иванович показывает на избу с повой дранковой крышей,— В прошлом году заново покрыли, а нынче, глядите, какие новые ворота поставили. Под коньком, с резьбой. А столбы-то, столбы—век простоят! Обживаются наши матренковские в городе. Кстати, хозяин этого дома тоже в пожарной охране работает, а по специальности плотник и столяр, хорошие шифоньеры, комоды на заказ делает—в мебельном магазине их не найдешь. Года через два и новый дом себе отгрохает под стать этим воротам. В связи с этим Василий Иванович заговорил о том, что человеку, приехавшему в Красноборск из Москвы,— скажем, молодой учительнице или врачу,—тут, конечно, трудно приходится, пока не заведут своего хозяйства, а мастеровому нужно только обжиться в городе, занять знакомства. — Много у нас в Красноборске всяких дыр, — говорил он.—Нет в магазине валенок—вот вам и дыра, из которой мастеровой человек может деньги грести. Валяльщики в городе есть, а валяльной мастерской нету, была промартель—закрыли, чтоб не воровали, теперь они сторожа, пожарники, ночью дежурят, а днем сапоги валяют потихоньку на дому; нужны тебе валенки— сколько спросят, столько и дашь.И закончил этот разговор Василий Иванович так: — Нет, не обойдешься у нас в Красноборске без инструмента в своем личном хозяйстве, если не хочешь, чтобы леваки обобрали тебя как липку.

Его-то не оберут, он сам себе все может сделать, пожалуй, при нужде и валенки сваяет, а мебель в доме у него вся своей работы. Мы подошли к небольшому, обшитому тесом домику, разноцветными, как флаги, стенами, зелено-синими и желто-голубыми, под железной крышей, разделенной на четыре таких же разноцветных квадрата, с печной трубой и телевизионной антенной в каждом квадрате. — А это что за попугай? — спросил я. — После смерти хозяина перешел к четырем наследникам, — сказал Василий Иванович. — Два года шла судебная канитель, пока наконец разделили дом. Вот каждый и раскрасил собственность своим цветом. Тоже скажете — пережиток. А между прочим, на наследника пришлось всего по девять метров, и двое из этих собственников люди семейные, ждут не дождутся квартиры в новом доме. Да, если хочешь познакомиться с городом, то такой человек, как Василий Иванович, счастливая находка — все и всех он тут знает, с редкими прохожими не поздоровается. Впрочем, казалось, что не он водит меня по городу, а нас обоих водит бегущий впереди Пушок. Куда Пушок завернет, туда и мы поворачиваем. За углом голые до пояса землекопы рыли водопроводную траншею. Пушок, бежавший по навалу выброшенного из нее песка, остановился возле них, загавкал. И Василий Иванович завернул за угол, поздоровался с землекопами, поглядел на траншею и покачал головой. — А что, товарищ прораб? — спросил его один из землекопов. Все они, видимо, когда-то работали под его началом. — Чего ж откосов не делаете? — сказал он. — Раз водопроводчики сразу за вами не кладут труб, надо делать, а то дождь пойдет и размочет. Песок ведь, глядите, осыпается как. — Указаний не дано, — оправдывались землекопы. — Мы же не горкомхоз. Какое нам дело? Василий Иванович плюнул, обозвал землекопов бюрократами и чинушами, сказал, что глядеть на них и на их работу не хочет, еще раз плюнул, махнул рукой и, зашагав дальше, стал ворчать, что если у людей нет совести — знают, что нужно делать откосы, а не делают, потому что не получили указания, — то далеко ли с такими людьми уйдешь? Досталось и завгоркомхозу: траншеи для водопровода люди роют, а смотровые колодцы почему сразу не роют? И где экскаватор, который горкомхоз уже два года обещает достать? Когда же это будет водопровод, если надо вырыть несколько километров траншей, а работают всего пять землекопов? Сунув руки в карманы, Василий Иванович опять — в какой уже раз за время нашей прогулки — сердито поддернул штаны, насупился и угрюмо замкнулся: чего, мол, тут разговаривать! Я начинал подумывать, не в укор ли это он мне, что я приехал в Красноборск ловить рыбу, а не от какой-нибудь московской газеты, чтобы прочистить с песочком горкомхоз. Он уже не раз заговаривал о том, что хотя Красноборск и недалеко от Москвы, но москвичей интересуют только его живописные окрестности. Может быть, он потому и пошел пройтись со мной — показать, что пусть Красноборск и маленький городок, но Москва не должна забывать о нем. Радостно завизжав, Пушок кинулся к девушке с большой полукруглой красной гребенкой в кружком подстриженных волосах и с папкой под мышкой. Пушок прыгал вокруг нее, норовя подскочить повыше, прямо па грудь, за что получил по носу папкой. Девушке было не до ласковой собачонки. Она толковала о чем-то с людьми, собравшимися у ворот скособочившегося домика-развалюшки. По тому, как она разговаривала тихим, ровным голосом, медленно поворачивая голову ко всем по очереди, всех внимательно выслушивая, и по тому, что собравшиеся у ворот люди стояли возле нее почтительным полукругом, — по всему видно было, что эта коренастая, невысокая, похожая на десятиклассницу девушка с красной гребенкой в волосах — представитель власти и решает сейчас какое-то важное для всех собравшихся здесь дело, — сельская сценка у ворот, знакомая с самых первых лет революции! И девушка как, будто знакомая с тех же пор. И даже этот скособочившийся дом-развалюшка. — А вот и Василий Иванович кстати тут, — сказала девушка и спросила у него, когда он сдает новые жилые корпуса в фабричном поселке. Василий

Иванович ответил, что один корпус будет сдан в сентябре. Из дальнейшего разговора я понял, что хозяин дома-развалюшки, рабочий шелковой фабрики, подал в горисполком заявление о выдаче ссуды на ремонт своего строения, но жилищная комиссия, проведя обследование, установила, что строение это насквозь прогнило, повсюду сыплется труха, ремонтуй или не ремонтуй, а жить в нем больше нельзя — все равно скоро завалится, годно только на дрова. Однако хозяин все же настаивал на ссуде, думая, что если подлатает свою развалюшку, то она еще года два продержится, а к тому времени, может быть, и на фабрике дадут наконец квартиру. Девушка с папкой под мышкой уверяла его, что он получит квартиру еще в нынешнем году, как только будет сдан в эксплуатацию первый строящийся на фабрике жилой корпус, но он говорил, что надежды на это нет,—знает, кому дают в первую очередь. Василий Иванович поглядел на развалюшку, постучал по бревнам, поколупал их, зашел с хозяином во двор и, вернувшись, сказал: — Что говорить, жилищная комиссия, конечно, права —ремонтировать смысла нет, но с другой стороны...— замявшись, он стал скрести затылок.— Правда, фабком еще не обсудил список, но у директора он уже готов.— Ты, Василий Иванович, за эту сторону не беспокойся,—сказала девушка.—В понедельник будет заседание горисполкома, я доложу, проект решения у меня уже есть. Как только, оформим, я сама передам его вашему директору. Посмотрим, признает он в конце концов советскую власть или нет. Сказав хозяину дома, чтобы он пришел в понедельник на заседание горисполкома, она попрощалась: До свидания, товарищи. Все ясно.— Кивнула головой и пошла неторопливым, но крепким, энергичным шагом. Один квартал нам с ней было по пути. Василий Иванович познакомил нас: — Секретарь горисполкома товарищ Любочкина. До прошлого года соседи были... А это— товарищ представитель центральной печати.

— Есть у нас еще одна развалюха похуже,—обращаясь ко мне, заговорила Любочкина.—Поинтересуйтесь. Хозяева—родные брат и сестра. Одна половина его, другая ее. Прошлый год сестра получила от фабрики комнату, переехала, и брат решил ломать дом, строить новый. Дали мы ему ссуду, и что вы думаете? Сестра уперлась: не дает ломать свою половину. Три раза вызывали мы ее на горисполком, уговаривали: «Живете в новом доме со всеми удобствами — зачем вам эта развалюха?»—«А я, говорит, когда прохожу мимо, обязательно зайду и посижу немного в своем старом домике». Заглянула я как-то в окно ее половины и вижу — сидит под зонтиком. Дождь шел, а крыша — как решето, без зонтика не просидишь. Как только ни стыдили мы ее на исполкоме, а она одно твердит: «Пусть свою половину ломает, а чтобы мою собственную ломать, так нет такого закона». Это, я вам скажу, экземпляр! Поинтересуйтесь,—повторила Любочкина. Она не улыбалась, но глаза у нее были отчаянно веселые—вот, мол, какие у нас в Красноборске экземпляры есть! С некоторых пор—видно, уж с возрастом—чуть ли не каждый человек, с которым знакомишься, напоминает мне кого-нибудь, иногда даже кажется, что я уже знал его когда-то и он остался таким же, каким был давным-давно. Любочкина напоминала мне многих. Будто Любочкина была секретарем горкома комсомола в том городе, где я учился в школе-коммуне, и заведовала детским домом для осиротевших во время голода в Поволжье детей в пору моей работы в укоме. И та девушка из застройкома на Днепрострое, которая снабжала меня материалом для газеты,—у нее был неистощимый клад этого материала, и та медсестра на финском фронте, в госпитале, где я лежал с обмороженными ногами,—все они будто бы эта самая Любочкина, что сейчас работает в Красноборском горисполкоме и, как говорит Василий Иванович, везет весь горисполкомовский воз, потому что председатели часто меняются, а она уже седьмой год работает бессменно, и никто лучше ее не может разобраться во всех жилищно-бытовых нуждах красноборцев, и не только в нуждах, а и в тех плутнях на которые они пускаются, конечно, чаще всего поневоле.

9. ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР

После прогулки с Василием Ивановичем по городу мне захотелось побывать с ним и на том торжественном вечере шелковиков во Дворце культуры, о котором я уже слышал в тот день. Василий Иванович имел пригласительный билет на два человека, а жена его, Пелагея Семеновна, не собиралась идти на этот вечер—она даже в кино не ходит. Да и сам он тоже как будто не хотел, говорил, что завтра ему рано вставать—весь город едет в колхозы на воскресник по прополке кукурузы надо собирать народ: он ведь председатель уличкома, отвечает за всю улицу. К тому же не любитель он торжественных заседаний—все, мол, заранее известно, кроме заученных слов, ничего не услышишь, вспомнил пионеров, которые со своей вожатой целый месяц репетируют стихотворное выступление на предстоящем праздновании столетия фабрики. Однако, немного покочевряжившись, Василий Иванович поглядел на часы и стал озабоченно выбирать сорочку, галстук, запонки, носки. Глядя на его сборы, я пожалел, что слишком уж спортивно экипировался, отправляясь в Красноборск на рыбалку,— может быть, неудобно являться в таком наряде на праздничный вечер? Василий Иванович, оглядев меня, сказал: — Ничего, сойдет. Сядем на заднем ряду, и никто нас не увидит. Сам же он принял вполне приличествующий торжественному собранию вид: светлая сорочка с красным галстуком, синий в белую полоску костюм, желтые туфли. При таком солидном облачении его хохолок на голове выглядел особенно мальчишески. Никогда еще не приходилось мне знакомиться с жизнью какого-нибудь города или села без определенной служебной цели, редакционного задания или заранее возникшего литературного замысла. Обычно знакомство происходило официально, начиналось в кабинетах секретаря райкома, председателя райисполкома, директора МТС и ограничивалось заданным кругом вопросов и людей. А теперь я почувствовал себя человеком, после многолетних дальних странствий вернувшимся в родные края. Все тут было мне интересно, все вызывало у меня какие-нибудь воспоминания. Красноборский Дворец культуры с его мощной колоннадой напомнил мне один из тех барских домов, в которых после революции открывались клубы. В ту пору, обшарпанный и пустой, он насквозь просвистывался ветром, так как стекло в окнах не было. Я проводил в этом старинном доме с колоннами занятия комсомольского кружка политграмоты. Мы сидели на двух лавках, поставленных возле большого, как пещера, горящего камина, подкладывали в него хворост, и, когда пламя ярко разгоралось, на стене из мрака выступал плакат с выведенным на нем красной краской лозунгом: «Бей мух—спасайся от холеры». Меня тогда в уломе партии крепко проработали за то, что вместо разъяснения комсомольцам новой экономической политики я стал втолковывать им разницу между марксистской и гегелевской диалектикой и что-то напутал. Вспомнил я и рабочие клубы на новостройках первой пятилетки—длинные деревянные бараки с такими же длинными кумачовыми полотнищами лозунгов снаружи и внутри, со знаменами и покрытым кумачом длинным столом на сцене, с тесными рядами грубо сколоченных скамеек, с железной печкой в проходе между ними, с цинковым бачком и жестяной кружкой на цепочке в заднем углу на табурете. Вспомнил и появившиеся во второй половине тридцатых годов серые, в индустриальном стиле железобетонные кубы первых Домов культуры с большими портретами, бюстами и статуями, с мягкими диванами, креслами и коврами, с бильярдными комнатами и ресторанного типа буфетами... Дворцы культуры с их воистину дворцовыми колоннами появились позже, уже после войны, но и они нынче выглядят памятниками прошлого. Конечно, Красноборск со своим Дворцом культуры, который только что построен, сильно запоздал. Василий Иванович сказал мне, что строительство его началось еще во времена архитектурных излишеств. — Не взрывать же сейчас колонны,— добавил он. Но если при строительстве своего Дворца культуры красноборцы и отдали некоторую дань помпезности, то внутренняя отделка его и

убранство весьма скромные. Просторное фойе, под стать московскому театру, украшают только кремовые шелковые шторы на окнах— местная продукция. И люди, постепенно наполнявшие фойе, ходили вдоль этих голых стен парами, но не так, как это обычно бывает в театре, а женщины с женщинами, мужчины с мужчинами, первые—под руку, вторые—напряженно вытянувшись или с заложенными за спину руками. Женщины разговаривали шепотом, оглядывались по сторонам, мужчины ходили молча и тоже оглядывались, но не туда-сюда, а только назад, на двери в вестибюль. — Ждут руководство,—объяснил Василий Иванович, вынул из брючного кармана часы и сказал:—Что-то руководители наши опаздывают. Сейчас, наверное, все вместе явятся. Первый секретарь у нас новый. Его еще не знают, побаиваются... О том, что руководство наконец прибыло, я понял по замедлившемуся сначала, а потом вдруг смешавшемуся движению в фойе. Поглядел на дверь и увидел высокую худую женщину в строгом сером костюме с белой кофточкой. Торопливо выскочив из вестибюля, она озабоченно повертела головой и обернулась к появившемуся следом за ней в дверях молодому кудря-иому мужчине. — Третий секретарь. Местная выдвиненка. Очень старательная женщина. А это сам первый,—шепнул мне Василий Иванович и показал глазами на кудрявого. За долгие годы газетной работы я привык видеть секретарей райкомов в полувоенных кителях, и сейчас, хотя они уже давно ходят в штатских пиджаках с галстуками, мне это все еще кажется каким-то вольным новшеством, как если бы офицер появился вдруг перед строем своих солдат переодевшимся в гражданское. Не скажи мне Василий Иванович, что шагнувший из дверей кудрявый мужчина в распахнутом пиджаке—первый секретарь райкома, пожалуй, я принял бы его скорее за передового в районе тракториста или комбайнера—уж, очень он выглядел вольно, весело, пожалуй, ему не хватало только баяна. Когда я сказал это Василию Ивановичу, тот стал уверять меня, что первого секретаря, как бы он ни одевался, как бы ни выглядел, всегда можно отличить от кого угодно—даже от второго секретаря, так же как второго можно отличить от третьего.— Возьмите нашего третьего,—сказал он.—уже около двадцати лет она работает в аппарате райкома. И выступить может, знает все слова, какие нужно сказать, и любое мероприятие провернет. Старательная женщина, а дальше третьего, ручаюсь вам, не пойдет. На второго уже не потянет. А вот новый прибыл к нам из области на второго, но все сразу поняли, что он будет первым. Месяца не прошло — и он уже первый. Общее круговое движение в фойе распалось, тут и там образовались небольшие круговороты. После того, как они затихли, только несколько женских пар еще как ни в чем не бывало продолжали прогуливаться под ручку. Все остальные мужчины и женщины, соединившись в кучки, стояли и поглядывали на нового первого секретаря, остановившегося посреди фойе в сопровождении третьего—этой высокой худой женщины, которая порывалась куда-то бежать, но почему-то не решалась. К ним подходили другие красноборские руководители. Василий Иванович называл их: второй секретарь, предрайисполкома, директор шелковой фабрики, редактор газеты, председатель горсовета, директор леспромхоза. "Все собрались возле первого секретаря, только директор шелковой фабрики, выделявшийся среди них своей властной осанкой и тяжелой поступью, сразу прошел дальше, с кем-то поздоровался, заговорил, и к нему со всех сторон стали приближаться люди. Они останавливались в нескольких шагах от него, кивали головой, а потом пятились назад, или подходили ближе и здоровались за руку, вероятно, в зависимости от взгляда, каким он достаивал того или иного. — Пользуются случаем приблизиться, —сказал Василий Иванович.—В кабинет к нему не каждый посмеет сунуться. Сфинкс. Из главка к нам попал'. А раньше у нас был... — И он заговорил о прежнем директоре фабрики, несколько лет назад умершем после долгой болезни, всячески расхваливал его за простоту в обращении с людьми. - А вот и Федька явился своей персоной,— объявил потом Василий Иванович.—Обратите внимание—копия

нашего теперешнего директора. По очереди под всех руководителей работает. При прежнем ходил в русской вышитой рубашке и посвистывал, а теперь вон как напыжился. Медленно поведя взглядом с одного кружка людей на другой, Федор Иванович Храпов направился к кружку, обступившему первого секретаря, постоял тут немного, громко рассмеялся чему-то, покачал головой, потом с независимым видом, глядя на потолок, отошел к кружку, собравшемуся возле директора, там постоял, поздоровался с кем-то, покрутился поблизости и, нахмурившийся, важный до чрезвычайности, вернулся назад, что-то кому-то сказал и, опять надувшись, отошел прочь. Я подумал, каким лохматым был, наверное, этот лысый толстячок лет сорок назад, какие речи закатывал на комсомольских собраниях, может быть, так же, как я, ходил в красной рубашке. По всему чувствовалось, что беднягу уже давно никто не принимает всерьез, но до него это, кажется, еще не доходит, и мне стало так грустно, словно он действительно был моим старым товарищем, с которым мы вместе когда-то орудовали в укоме. Бывает иногда, что вернешься на миг в прошлое и оттуда воочию увидишь ход времени со всей его жестокой неумолимостью. Печально станет за кого-нибудь, а вместе с тем и радостно, что время не застаивается и все в жизни идет своим чередом. В зал прошли музыканты с медными трубами. Высокая женщина—третий секретарь райкома—побежала за ними, исчезла, вскоре вернулась. За стеной с двумя настежь открытыми дверями в фойе оркестр заиграл вальс, и первый секретарь тотчас вышел из круга людей и вывел из него за руку женщину с двумя орденами на жакетке—ту самую знакомую уже мне Шурочку Круглову, которую мы с Василием Ивановичем встретили в скверике. Теперь она, наверное, уже управилась со всеми домашними делами, стряхнула с себя все мелкие житейские заботы. Она в том же самом сером узковатом ей в плечах жакете, но по ее возбужденному, сияющему, празднично счастливому лицу видно, как она уже далека от всего повседневного. Кудрявый кавалер—нет, право же, мне трудно было поверить, что это первый секретарь райкома,—подхватил свою даму, и они закружились: он со скучающим, как это принято сейчас у танцоров, лицом, а она воодушевленно раскрасневшаяся. Все отступили к стенам, давая простор этой пока еще единственной танцующей паре. Потом одна за другой закружились в вальсе еще несколько весьма пожилых и солидных пар, другие районные руководители и другие знатные ткачихи. Затем осмелели и остальные жавшиеся у стен красноборцы. — Наш новый первый и тут тон задает,—сказал Василий Иванович.—Такого, чтобы танцевали до окончания торжественной части, у нас еще не было. Не танцевали только директор фабрики с образовавшейся при нем свитой да Федор Иванович Храпов, стоявший рядом с сумрачной и очень прямо, как столб, державшейся женщиной в летах. Василий Иванович сообщил мне, что эта женщина—супруга Федьки—была первой девушкой-ткачихой, которую он вовлек в фабричную комсомольскую ячейку лет сорок назад, а теперь она—главный инженер фабрики, энергичный, деловой человек, не то что ее муж — пустельга. «Ох и невесело живется теперь этому бедному Федьке»,—думал я, глядя на его сумрачную и, должно быть, очень властную супругу. Началось торжественное собрание. Мы с Василием Ивановичем вошли в зал последними и сели в последнем пустом ряду, но тут нас с ним сразу же разлучили. Он попал в длинный, предложенный и под аплодисменты принятый список состава президиума. Это, как мне показалось, было для него неожиданностью. Перечисленные в списке поднимались и выходили из рядов, а он, глядя на них, растерянно вертел головой, потом поднялся, потоптался на месте и, махнув рукой—хватит, мол, там людей и без меня,—снова сел рядом со мной. Я подумал, что его, наверное, все же соблазняет честь посидеть на сцене за столом президиума, но он почему-то стесняется, может быть, ему неловко оставить меня одного, и я сказал: -- Ну что же вы, Василий Иванович,—идите!—И подтолкнул его под локоть. Тогда он встал и решительно зашагал к сцене по опустевшему уже

проходу. На сцене он сел крайним у стола и все время сидел, закинув ногу на ногу и скрестив руки на груди, с видом человека, который хотя и сидит в президиуме, но нисколько не зависит от него. Первым поднялся на трибуну директор шелковой фабрики. Нет, ничего загадочного я не увидел в этом сфинксе», как назвал его Василий Иванович. Были у нас в свое время железные начдивы и комбриги, одни действительно железные по революционной закалке своего характера, а другие и вовсе бесхарактерные, но стремившиеся каждым своим шагом и каждым словом внушить подчиненным, что они железные с головы до пят и ничем их не пробьешь. Потом и в мирной жизни появились у нас эти сверхъестественно непробиваемые железные начальники разных рангов. Иной раз столкнешься с таким начальником и подумаешь: не от роду же ты ходишь напыжившийся, со взглядом, отгороженным от людей? А если не от роду, то кто, когда тебе внушил, что руководитель должен быть лишен всех человеческих чувств? Выйдет этакий сфинкс с надменно-каменным лицом на трибуну, поведет пустым, невидящим взглядом по залу, и человек уже чувствует себя последней на свете козьявкой. Все равно, барабанит ли он о достижениях или ставит задачи, в голосе у него такое, будто кто-то в зале сомневается в достижениях или хочет увильнуть от стоящих задач. Когда речь идет о достижениях, всем должно быть ясно, что все достигнуто только благодаря его железному руководству, а когда речь идет о задачах—что эти задачи поставлены свыше и должны быть выполнены опять же под его железным руководством. Слушая доклад директора, напомнившего мне этот когда-то довольно распространенный тип руководителя, я думал, что и он, наверное, был комсомольцем, и, судя по возрасту, комсомольцем тех лет, когда мы, выступая на собраниях, кричали до хрипа, потрясали кулаками и даже били ими себя в грудь. А сейчас какие у него властно сдержанные, четко отработанные жесты, какое неподвижное и непроницаемое лицо! А может быть, это только маска, которую он когда-то у кого-то скопировал? И если это маска, то может ли он снять ее или она уже так приросла к нему, что ее никакими силами не отдерешь? Потом на трибуну поднялся секретарь райкома. На месте, с которого только что сошел каменный сфинкс, перед собранием предстал обыкновенный, простой, молодой и, видимо, веселый человек с мотающимися по лбу крупными цыганскими кудрями. И все же я подумал, что Василий Иванович, пожалуй, прав—каким бы простеньким ни выглядел новый красноборский секретарь райкома, показавшийся мне в фойе больше похожим на принарядившегося тракториста или комбайнера, теперь все же было видно, что он первый, а не второй или третий. Это было видно и по тому, как он вольно, по-хозяйски стоял на трибуне Дворца культуры, опираясь на нее обеими широко расставленными руками, и по тому, что, приветствуя с трибуны коллектив фабрики, он ни разу не оглянулся на ее директора, каменно сидевшего за столом президиума. И еще по тому, как на глаза его вдруг набегала тень усталости чрезвычайно обремененного заботами человека и как он, стряхивая ее, энергично повторял вяло сказанную фразу. Все это заставляло с интересом слушать его и ждать, что он скажет что-то неожиданное. Ничего неожиданного он не сказал, по части достижений и задач, по сути дела, повторил сказанное директором, но прозвучало это у него совсем иначе. И люди зашевелились, стали вытягивать головы, а потом и переглядываться, перешептываться. «Вот ведь,—подумал я,—как приятно, когда с тобой разговаривают без металла в голосе и без повелительных наклонов». Впрочем, что касается Василия Ивановича, сидевшего на сцене у края длинного стола, независимо закинув ногу на ногу и скрестив руки на груди, то незаметно было, чтобы он повеселел. Я вспомнил, как он сказал: «Наш новый первый тон задает»,—и усмехнулся про себя: «Ох и трудно же начальству с такими самостоятельными людьми — никак им не угодишь!» Появилась на трибуне и уже знакомая нам Шурочка Круглова. Выпалив одним духом благодарность партии и правительству за новый орден, она запнулась, потом сказала, прижав руки к груди:

— Товарищи, я так благодарна, я так благодарна, мня каждый раз отмечают...—И снова запнулась. А тогда кто-то из президиума попросил ее сказать, сколько женщин она уже одела в шелка, Шурочка подняла голову и ответила громким голосом: Уже тридцать шесть тысяч—вы же сами подсчитали. Расскажите, как вы боролись за сортность продукции,—сказал директор. — Хорошо, я расскажу,—сказала Шурочка и заговорила быстро-быстро. Да, она боролась, и ей было очень трудно бороться, потому что пальцы у нее не чувствовали нитку. Все же знают, что когда мужчины ушли на войну с фашистами, женщинам пришлось заменять их на фабрике—прошли курсы поммастеров и заступили на тяжелую мужскую работу. И она тоже во время войны работала в ткацком цехе поммастера. А после войны мужчины стали возвращаться на фабрику, и надо было их уважить. Женщин попросили уступить мужчинам места поммастеров. она без слов уступила, стала работать ткачихой. А руки у нее за войну очень огрубели от железного инструмента. Вот пальцы и не чувствовали нитки, никак немогли ее поймать: А норму надо было выполнять, и за сортность еще больше надо было бороться с переходом мирный ассортимент. Наплакалась она тогда на крепдешине и эпонже. Спасибо старым ткачихам, которые прибежали к ее станку помогать, когда нитка рвалась. С их помощью она и боролась, как ей ни трудно было, а боролась и плакала, пока пальцы не почувствовали нитку. Под конец она всхлипнула, а потом вдруг испуганно сказала: Да что же это я, товарищи, все о себе говорю, о своих пальцах! Спросите вот Серафиму Павловну— она все еще не хочет на пенсию выходить,— сколько она со мной намучилась, сколько раз от своих станков прибегала выручать меня в беде. А сейчас сидит в задних рядах, и никто ее не отмечает, никто ей не хлопает. Разве это справедливо? Нет, товарищи, несправедливо. Спасибо тебе большое от меня, Серафима Павловна!— крикнула она в зал и закончила:—Вот и все, больше не скажу о себе ничего. Довольно уже и так наговорила. Хватит с меня. — Молодец, Шурочка! Правильно говоришь,—громко одобрил ее кто-то в зале. Стали кричать: — Серафиму Павловну в президиум! — Просим тебя, Серафима Павловна! — Давай, давай, не стесняйся, Серафима! Зал дружно захлопал. И когда председатель, объявив, что поступившее предложение следует считать принятым, попросил Серафиму Павловну занять место в президиуме, из третьего от меня ряда стала выбираться к проходу высокая статная женщина в ярком многоцветном шелковом платье. Сначала она показалась мне красивой, молодой, но потом я увидел, что женщина уже в пожилом возрасте и еще не пренебрегает косметикой. Поднявшись на сцену, Серафима Павловна подошла к Шурочке Кругловой, обняла ее, расцеловала, села рядом, прижалась щекой к ее щеке и заулыбалась залу. Последним выступал Федор Иванович Храпов. Взобравшись на трибуну, он нахмурился и стал важно раскладывать на ней какие-то листки. Председатель попросил его не затягивать своего выступления, так как впереди большая художественная часть и артисты уже ждут, да и пионеры пришли с подарками, тоже ждут. Храпов и глазом не повел в его сторону. Покончив со своими листками, он вздернул голову, заложил ладонь за борт пиджака и, прежде чем заговорить, немного постоял молча в этой начальственной позе, комично похожий на директора, как будто тот снова появился на трибуне, но уже в уменьшенном виде. Храпов, видимо, хотел показать собранию, что председатель ему не указчик — сколько хочет, столько и будет говорить. Я вспомнил первые комсомольские собрания—тогда ораторы тоже надувались от важности, и когда он заговорил о том огромном воспитательном значении, которое имеет его собственная самоотверженная и бескорыстная работа по собиранию материалов о революционном прошлом Красноборской шелковой фабрики, мне это вовсе не было смешно. Будь кто другой, а не Храпов, глядя на которого я думал о нашей первой заводской ячейке в том маленьком городе, где началась моя комсомольская жизнь, я бы, конечно, посмеялся, как смеялась сидевшая впереди меня и еще, наверное, не

знавшая его молодежь, но Федора Ивановича мне было жаль, и я не понимал, как он не замечает, что над ним смеются. В связи со своей исторической работой он стал распространяться о нынешнем благосостоянии рабочих фабрики, сравнивать его с царствовавшей тут раньше нищетой и привел цифровые данные за целое столетие, установив таким образом, что самые обычные ныне среди красноборцев транспортные средства и предметы культурного обихода—велосипеды, мотоциклы, мотороллеры, радиоприемники и телевизоры—в прошлом веке в Красноборске полностью отсутствовали из-за бедственного положения местных фабричных рабочих. Потом сложил свои листки, сунул их в карман, немного помолчал и вдруг предался личным воспоминаниям о той поре, когда он учился в четвертом классе городского училища и мечтал попасть на бал в женскую прогимназию, находившуюся как раз напротив его училища. Вечерами, когда там происходили балы, он часами простаивал у ярко освещенных окон, и его душила зависть к этим семинаристам, танцевавшим с гимназистками. Их учеников городского училища, не пускали на вечера в прогимназию, а ему тогда очень хотелось потанцевать с какой-нибудь гимназисточкой. Но если бы его и пустили на бал, он все равно не пошел бы, потому что и штаны и ботинки у него были в заплатах, да и танцевать он не умел—мог только сплясать трепака. По тому, как люди стали вытягивать шеи, я почувствовал, что в зале появилось доброе любопытство к оратору. Его будто подменили—веселый толстячек с лысиной во всю голову вспоминает свою юность. Но тут вдруг раздался громкий барабанный бой—в зал строем вошли пионеры, и Храпов, оборвав свои воспоминания полуслове, обиженно ретировался с трибуны. Пионеры поднялись на сцену, выстроились шеренгой, загородив собой президиум, и, держа на вытянутых руках груды пакетов и свертков с подарками, начали поочередно то с правого, то с левого фланга испуганными голосами торопливо выкрикивать стихотворный рапорт собранию. Это театрализованное действие в Красноборске отличалось одной особенностью: главная роль в нем принадлежала не самим пионерам, а их вожатой—энергичной девушке, которая с мотающимися вокруг головы пушистыми волосами дирижировала рапортом пионеров. У нее это было похоже на какой-то танец, в котором тревога чередовалась с ужасом, ужас с гневом, гнев с отчаянием. Нельзя было не пережить вместе с ней попеременно всех этих чувств, когда она то кидалась вперед, то отшатывалась назад, шарахалась то вправо, то влево, простирала руки, раскидывала их, вздымала вверх, угрожающе потрясала над головой кулаками, негодуяще трясла головой. Как будто все сошло благополучно, и, вероятно, ее переживания были напрасными, но на меня они произвели столь сильное впечатление, что я не сразу заметил, как ко мне подошел пионер и сунул в руки сверток с подарком. От неожиданности я воскликнул: — Что вы, что вы! Да я же тут случайный человек. — Все равно берите,—строго сказал он.—Подарки полагаются всем присутствующим без исключения. Не зная, что делать с оказавшимся у меня в руках свертком, я попытался сунуть его в карман, но он не влезал туда. Бумага прорвалась, и из нее выскользнула маленькая навесная полочка. Торжественная часть закончилась, был объявлен перерыв, все стали выходить из зала, и я вышел с этой детской полочкой в руке. Какой бы пустяковый подарок ни был, но все же неприятно, если ты получил его незаслуженно, по ошибке. Мне казалось, что все глядят на меня: вот, мол, втерся на собрание какой-то посторонний человек, наверное рыболов из Москвы, и тоже схватил подарок. Повертевшись в фойе, я сунул полочку на подоконник, за шелковую штору, и только после этого, свободно вздохнув, заметил, что все, не задерживаясь в фойе, устремляются куда-то дальше, вверх по лестнице. И я пошел туда и вскоре уперся в хвост очереди, вытянувшейся на лестницу из битком набитой людьми комнаты. Оттуда кое-кто уже выбирался с апельсинами в кулках и авоськах. Увидев апельсины, я тотчас стал проталкиваться назад—довольно с меня уж этой полочки, от которой я с трудом

отделался, а то еще вручат ни за что кулек с апельсинами, и тогда вовсе почувствуешь себя грабителем, забравшимся в чужой дом. Удачно улизнув от апельсинов, я зашел в курительную. О том, что это курительная, можно было догадаться по стоявшему посреди комнаты старому заскорузлому ведру с окурками на дне. Кроме этого ведра, в комнате ничего больше не было. Вслед за мной в курительную вошли первый секретарь райкома и с ним несколько товарищей, позади которых на некотором расстоянии шествовал в одиночестве Федор Иванович Храпов. Секретарь оглядел комнату, подошел к ведру, постучал по нему ногой. Что это за помойка?—спросил он, обернувшись к одному из сопровождающих. Тог удрученно развел руками: - Смету перерасходовали и теперь сидим на бобах.— Если на бобах, то это еще не так плохо,— сказал секретарь. Потом подошел ко мне и спросил: — Это не о вас мне говорили: представитель центральной печати из Москвы приехал, собирается писать о нас, грешных?— Да нет, просто так приехал. Думал рыбу половить,— ответил я, досадуя на Василия Ивановича, который, видимо, уже шепнул обо мне кому-то в президиуме.-- Ну, если вздумаете писать, заходите—потолкуем, может, чем-нибудь смогу помочь,— пообещал он. **На** этом разговор и закончился, но он имел свои последствия. Как только секретарь вышел из курилки, Федор Иванович Храпов, задержавшись тут на минутку, тоже подошел ко мне и, будто только что увидев, сказал, что очень рад познакомиться, и в свою очередь пригласил меня заходить к нему в любое время.— Раз дело серьезное, я готов оказать вам всяческое содействие и помощь,— сказал он. Я ответил, что хотя у меня никаких серьезных дел нет, но обязательно воспользуюсь его приглашением, тем более что, как я слышал, он один из первых в городе комсомольцев... Не один из первых, а самый первый,— поправил он затем предупредил:—Только, к сожалению, завтра не смогу вас принять.—И объяснил, что завтра утром вместе со всем партактивом города должен выехать в колхозы на воскресник по прополке кукурузы, так как райком, в связи с последним решением обкома, придает этому воскреснику чрезвычайное значение.

10. ВОСКРЕСЕНЬЕ В КРАСНОБОРСКЕ

Утром, проснувшись, я зашел на кухню и увидел маленькую девочку, катавшую на полу апельсин: в доме гостила внучка хозяев, живущая с родителями в другом конце города. Мама-ткачиха и папа-шофер тоже уехали на воскресник и по дороге закинули ее к бабушке— пусть понынчит, пока они не вернутся из колхоза.— Все уехали на кукурузу. Одни мы остались с Аллочкой,—сказала Пелагея Семеновна, как это было видно, нимало не опечаленная тем, и спросила, не разогреть ли мне самовар. Она сидела на табурете и, склонившись, покойно, счастливо глядела на ползавшую по полу внучку. Я но стал тревожить хозяйку, сказал, что по дороге на речку зайду позавтракать в чайную, и, прихватив с собой спиннинг, вышел из дому. В Красноборске в то воскресенье по улицам бродили только куры, и с одной стороны на другую шныряли кошки, но на скамейке, что против чайной, на берегу озера сидел милиционер, очень нарядно выглядевший тут в своей голубой рубашке и черном галстуке. Подойдя ближе, я увидел корчившегося тут же, внизу, у самой воды худого старика со свисавшими на глаза мокрыми волосами: задрав за голову обе руки, он пытался стянуть с себя тоже мокрую, липнущую к спине рубашку, но это ему никак не удавалось. Больше здесь, на таком обычно оживленном месте, никого не видно было. — Что это он, сначала выкупался, а потом вздумал раздеваться?—спросил я про старика у горестно глядевшего на него нарядного милиционера. — Вытрезвиловку устроил себе, старый черт,— ответил тот и показал на стоявшую у берега лодку.— Залез, чтобы голову окунуть, и вывалился в воду. Я успел позавтракать в пустой чайной, а старик все еще корчился у озера под пристальным наблюдением милиционера. Мокрую рубашку он уже стянул с себя, теперь стягивал с таким же мучением мокрые штаны. — А ну, пошевеливайся быстрее!—прикрикнул на него милиционер.— Получишь свои

пятнадцать суток, тогда можешь прохладиться! А мне с тобой некогда. Я подсел к нему на скамейку, и он поделился со мной своим возмущением. Трудящиеся на воскресник все уехали в колхозы, а тунеядцы с утра пьянствуют и скандалят со своими бабами. Швейную машину выкинул в окно—раз, с самоваром бегал по улице, пока не расколошматил его об столб,—два, тычину из палисадника вырвал и все окна в доме переколотил—три. Возись теперь с ним, составляй акт на мелкое хулиганство. Пока старик стягивал с себя штаны, пытался встать на ноги, падал, снова вставал, потом выкручивал мокрую одежду, и наконец, немного протрезвев, стал надевать рубашку, сначала воротником вниз, потом вверх,— пока все это проделывалось молча, старательно, мы с милиционером разговорились, и он познакомил меня с нравами красноборских выпивох. В общем-то они, как он сказал, народ мирный, сильно бушуют только после получки, но большей частью у себя дома или где-нибудь за забором, поэтому милиции трудно углядеть за ними, пока они не выбегут скандалить на улицу, ну, а тогда редко кто укладывается в меньший срок, чем пятнадцать суток. Одевшись, старик совсем протрезвел, твердо поднялся по откосу берега, попросил у меня папиросу, закурил. Милиционер тоже закурил, и после этого они оба ушли, мирно толкуя о чем-то, а я снова остался один опустевшем городе. Раздумывая, куда пойти, я покрутился возле чайной и увидел тут на заборе красочное объявление, приглашавшее граждан на лодочную станцию, чтобы культурно с пользой для здоровья прокатиться по озеру на «Ракете». Лодочная станция издали обращала на себя внимание длинным кумачовым полотнищем с лозунгом «Вонно-Морскому Флоту слава!», протянутым под крышей стоящего на берегу озера деревянного навеса. Придя сюда, я стал искать, где тут садятся на «Ракету». Под навесом было пусто. Пусто было и в будке у причала и на самом причале, у которого мирно покоилось на тихой воде десятка два весельных лодочек и одна моторная. С моторной лодочки свисало три удилища—два с одного борта, третье—с другого, и на воде возле лодки краснели три поплавок. Надпись на носу лодки гласила, передо мною «Ракета». Тут же был и капитан этой «Ракеты», а может быть, даже сам командующий красноборским флотом, но он спал в лодке, закрыв о солнца лицо кепкой, и я не решился тревожить его воскресный отдых. Поглядев на расставленные им вокруг себя удилища и неподвижно стоявшие поплавки, я пошел отсюда прочь в размышлении, что, пожалуй, это красноборский флотоводец поступил весьма остроумно, прибегнув к такому не обременительному для себя способу рыбной ловли. Очевидно было, что тут, на озере, возиться со спиннингом нет смысла. По Кокве я уже таскался, остается пойти вверх по Дреме, решил я и, перебравшись через заболоченный пустырь, вышел на вившуюся по берегу речки тропинку, с которой я позавчера неудачно, если вспомнить просыпавшуюся тут в ров картошку, начал свое странствие по Красноборску и его окрестностям. А вот и старая, заброшенная кузница на лужке у моста, под шатром дуплистых ив. Да нет, хотя кузница и очень ветхая, но, должно быть, еще не заброшена: замок новенький, светлый, блестит на черных воротах, как серебряная медаль. Как это я не заметил его позавчера? Когда я пощупал его, не веря своим глазам, что на такой древней кузнице может висеть новенький замок, меня окликнул с берега женский голос: — Вам кузнеца надо? У речки горел костер, возле на корточках сидела старая цыганка, яркая, как мак на лугу, и помешивала что-то варившееся в котелке. Я спросил у нее, чья это кузница. — Наша,—сказала она.— Зять мой работает от торга. Только его нету, уехал на воскресник помогать колхозу... И дочь моя уехала,—добавила она. — Тоже на кузнице работает?— Зачем на кузнице?—Цыганка пожала плечами.— На шелковой фабрике работает... А вам на что кузнец?

— Да так, хотел спросить, работает ли кузница? — Какая работа?—И она стала ругать торг: было восемь лошадей, а как машину получили, четырех на колбасу зарезали, осталось четыре, и тех скоро зарежут, ни одной лошади не будет.

Я посочувствовал, и мы с ней немного поговорили о судьбе лошадей, а потом она показала мне на белый каменный дом, стоящий на горе за речкой, в котором живут все они, недавно поселившиеся в Красноборске цыгане. «Дом хороший,— подумал я,—но жильцы его, видно, все же лучше чувствуют себя у костра на речке— иначе чего бы ей, старой, таскаться сюда с горы варить обед?» Похвалившись хорошим заработком, который приносят в дом ее зять и дочь, она вытащила из-за пазухи засаленную колоду карт. Давай погадаю. А когда я замахал руками, сунула карты обратно за пазуху и сердито сказала: Глупый человек, свое счастье не хочешь знать. От кузницы, чтобы пересечь излучины Дремы, которая огибает тут Красноборск, мне пришлось подниматься в город по главной улице. И она была в тот день безлюдной. Не то чтобы совсем уже не видно было людей, но если исключить шнырявших по улице ребятишек, стариков и старух, прохлаждавшихся на скамеечках у ворот, и одного инвалида-паралитика, лежавшего под липой в кресле-коляске,—словом, если говорить о прохожих, то я был единственный. Конечно же не все до одного горожане выехали из города в колхозы, но эти оставшиеся, видимо, совестились выходить на улицу. Один я шагал, да еще со спиннингом в руке!

С чувством неловкости перед уехавшими на прополку кукурузы красноборцами поглядывал я на щиты-платы с многозначными цифрами плановых заданий по сдаче государству сельскохозяйственной продукции. Эти суровые плакаты на пустой улице, как-то особенно бросающиеся в глаза, сопровождали меня до самой центральной площади, где я остановился перед огромным, в половину глухой стены двухэтажного дома, веселым цветным плакатом с изображением счастливых молодоженов. Прильнув друг к другу, щека к щеке, они глядят в раскрытую сберкнижку и радуются: Вырастает сумма вклада — Купим все, что надо. Плакатные молодожены не могли не напомнить о той молодой парочке, что, накопив денег, купила мотороллер и теперь, ошалев от счастья, целые дни носится туда и назад по городу и его окрестностям. Сегодня этой парочки на мотороллере не было видно—должно быть, они тоже укатили в колхоз на воскресник. Проходя мимо раймага, я поглядывал на свои собственные крошечные отражения в белых стеклянных шарах, украшавших его витрины, а потом, оглянувшись, увидел такую же крошечную девушку, будто свалившуюся с неба на парашюте посреди пустой площади. Волосы у этой девчушки были похожи на фонтан, падавший с головы на спину. Она тащила чемодан, и за ней, как парашют, волочился по асфальту висевший на руке плащ. — Не знаете ли, где тут гостиница? — крикнула она плачущим голосом. Надо было ей помочь: может быть, первый раз, попала в чужой город, а тут на улицах никого нет, будто город вымер. Я видел где-то вывеску гостиницы, но не мог вспомнить где. Девчушка подошла ко мне, стояла в ожидании, глаза у нее были полны слез, казалось вот-вот заревет на всю площадь. От обязанности разыскивать для нее гостиницу меня освободил один наконец-то появившийся на площади местный житель. Волоча за собой плащ, девушка пошла в сторону, куда ей показали, а я, поглядев немного вслед ей, подумав, чего это она так расстроилась, вскинул на плечо зачехленный спиннинг и зашагал под гору, к реке. Опустевший город возбудил у меня надежды, что и на реке за городом пусто. На щук я уже больше тут не рассчитывал, думал только поупражняться со спиннингом. Мне хотелось научиться закидывать его, чтобы не смешить мальчишек, если когда-нибудь придется пользоваться в их присутствии этой еще недостаточно освоенной мною рыболовной техникой. Однако мои надежды на это рухнули, как только я поднялся на покрытую сосновым бором горку. Здесь, как рассказывал Василий Иванович, некогда стояла знаменитая в округе графская дача, на которую в праздничные дни дореволюционная московская знать съезжалась на лихих тройках с бубенцами. От дачи этой и следа не осталось, и тройки с бубенцами давно вывелись, но я упустил из виду, что этот живописный уголок под Красноборском стал

доступен для воскресного отдыха широких масс москвичей. Конечно, речь идет не тех, кто может пользоваться только рейсовыми автобусами—этим сюда в воскресенье не так-то легко добраться,—а о тех, кто имеет собственные автомашины. В сосновом бору с еловым подлеском — а именно такой бор покрывал горку над Дремой—легковую машину, будь то «Волга» или «Победа», так же как гриб, разглядишь не сразу. Сначала я не понял, что это стоит там, за елочками. Сунулся в ельничек и оторопело попятился назад, увидев укrywшуюся за ним светло-зеленую «Волгу», а в ней розовую русалку, забравшуюся в машину, чтобы снять свой чешуйчатый купальный костюм и как раз только что выскользнувшую из него. На минутку остолбенеv, я пошел затем дарьше и скоро обнаружил уткнувшуюся в молодой ельничек коричневую «Победу» и возле нее—полуголое семейство, загоравшее на солнечной полянке в окружении разных бутылок—с сосками и без сосок. А потом уж приглядываться нечего было — наметанный глаз издали различал черные «ЗИЛы» и разноцветные «Волги», «Обеды», «Москвичи». «Да, к пляжу тут, пожалуй, и не протолкнешься»,— подумал я и, что это действительно так, убедился, выйдя на тот край леса, откуда дорога спускается на примыкающий к пляжу луг. Там, у реки, кишел людской муравейник. Поглядев на него с горы, я повернул назад в лес. Расположившиеся здесь у своих машин москвичи предавались воскресному отдыху тесными компаниями, отделенными одна от другой стенами густого мелкого ельника. Одни компании обнаруживали себя только развешанными на елочках трусиками и лифчиками — для просушки после купания, другие давали о себе, зная громко и время от времени выкидывали из своих укромных местечек бутылки, консервные банки и прочие отбросы. Тут же, шаря палками под елочками, бродили старик и старуха с большими плетеными корзинками. Старик— маленький, седенький, с иконным ликом, старуха—высокая, прямая. «Ага!—обрадовался я, узнав дядю Егора с его супругой.—Попробую-ка еще раз поговорить с ним». Подошел, поздоровался, заглянул в корзинку, думая, что там грибы, но увидел блестящее под дерюжкой бутылочное стекло и удивленно протянул: А-а-а, бутылки собираете! Старик дернул головой и так же, как вчера, зло уставился на меня. — А что, и бутылки уже нельзя собирать в лесу? — Да нет, почему же нельзя,—смутился я.—Конечно, можно, даже хорошо, что собираете,— меньше мусора будет. — Ну, а если можно, так чего вам от меня надо? Чего вы ко мне цепляетесь? Я стал извиняться: — Простите, пожалуйста. Думал, что вы грибы собираете... —Хочу—грибы собираю, хочу—бутылки, никому до этого никакого дела нету. Вот так, гражданин, и разговаривать нам с вами больше нечего,— заключил он, потрянув корзинкой, сердито поднял плечи и пошел прочь. Старуха во время этого разговора слова не проронила. Стояла и, поджав губы, настороженно глядела на меня. Похоже было, что она никак не может решить, очень я опасный человек или не очень, но в конце концов, кажется, решила, что не очень. Во всяком случае оба они—и старик и старуха,—уйдя прочь, спокойно продолжали собирать в лесу разбросанные приезжими москвичами бутылки и ни разу не оглянулись на меня. Между тем, поглядывая, как они старательно шарят под елочками, я долго стоял в раздумье. Работая многие годы в газете, я писал только о самом главном, не отвлекаясь от него в сторону на разные мелочи,—все равно на газетных полосах для них обычно не оставалось места. И в редакции меня хвалили за целеустремленность, за оперативность. А теперь вот, когда вспоминаешь ту пору, в памяти встают главным образом именно такие мелочи, не находившие себе места в нашей газете. Так и не решив, мелочь или не мелочь в жизни Красноборска эти нелюдимые и сердитые старики, я направился обратно в город, намереваясь зайти на почту— позвонить по междугородному телефону домой, успокоить своих насчет дебрей, в которые я попал, и по дороге меня захватил на улице неожиданно хлынувший дождь. Небо только что было чистое, и первые капля зашлепали по песку раньше, чем набежавшая вдруг темно-сиреневая тучка закрыла солнце. Когда

ее тень легла на улицу, дождь уже звучно хлестал струями, потом он обрушился водопадом. Я едва успел укрыться от него под плотной кроной большой липы. На улице сразу забурили ручьи, быстро слившиеся в один шумно катившейся с горы поток, а под липой было сухо—ее листва свисала над высоким деревянным забором непроницаемо густым навесом. На меня падали только отдельные тяжелые, скатывавшиеся с зеленого навеса капли. Спустя две-три минуты дождь начал затихать, но еще до того, как он затих, солнце вышло из-за тучи. Все вокруг засверкало, заискрилось, а когда дождь совсем прошел и почти разом с ним затихли скатившиеся под гору ручьи, освеженная стремительно пронесшимся дождем улица с ее крепким, как асфальт, светлым песком, зелеными бровками и кое-где задержавшимися на песке лужицами стала отливать мягким шелковым блеском. Я стоял под липой, щурясь от этого всюду разлитого блеска, и думал, что, если бы в Красноборске и не было шелковой фабрики, его все равно можно было бы назвать шелковым городом. Потом зашел на почту, поднялся по крутой деревянной лестнице на второй этаж, где помещался телеграф и телефон, и там меня оглушил истошный крик из телефонной кабинки: - Папочка, милый, ты же совсем-совсем не представляешь себе, в какую я ужасную дыру попала—жуть что такое! На улице человека не увидишь. Лучше мне из института уйти, чем всю жизнь потом работать в такой мертвой дыре. Папочка, ты слышишь, что я тебе говорю? Ну, что же ты молчишь, папочка?.. Да нет, на фабрике я еще не была—сегодня же воскресенье, сижу гостинице... Ну конечно же это была она—та девчушка с чемоданом, которая расплакалась еще тогда, посреди пустой площади. Из телефонной кабинки она вышла с распухшим от слез лицом, красная, сердитая, выхватила из сумочки платочек, ткнула им в один глаз, в другой, всхлипнула и стала зло рвать его своими мелкими зубками. Я хотел сказать ей, что Красноборск вовсе не дыра, это только кажется, потому что сегодня все уехали из города в колхозы на воскресник, но не успел. Серdito глянув на меня, она махнула своим свисавшим с головы хвостом и застучала каблучками по лестнице. Когда я вышел с почты, по улице мчались грузовики с полными кузовами пассажиров—красноборцы возвращались с воскресника. Город ожил—отовсюду доносился шум машин, говор слезавших с них и расходившихся по улицам людей. Своего хозяина я застал дома, он сидел уже за обеденным столом, на этот раз накрытым не на кухне, а в зале—по случаю того, что на обед остались дочка и зять хозяев, вместе с Василием Ивановичем вернувшиеся с воскресника. По этому же случаю на столе стояла поллитровка водки, поглядывая на которую, хозяин, державший на руках внучку и чистивший для нее апельсин, кривился, морщился и хмурился — по состоянию здоровья ему приходилось воздерживаться. Все же стопка возле него была поставлена, и зять, разливая водку, не обошел тестя. Василий Иванович сердито помотал головой—нет, нет, мол, все равно пить не буду, но стопки от себя не отодвинул, только стал еще больше кривиться и морщиться. — Да брось ты, Василий Иванович, мучиться. Одну-то можно,—посмеялась Пелагея Семеновна. Она взяла у него с рук внучку, и после этого он поскреб затылок и облегченно сказал: — Ладно, одну уж. — Ну, как поработали в колхозе?—спросил я, когда выпили по первой. Василий Иванович махнул рукой. — Какая там работа! Полдня бригадира искали, едва нашли — в соседней деревне на свадьбе загулял. — А кукуруза нынче хорошая. За все годы первый раз такая удалась,—сказал зять, наливая по второй стопке. Василий Иванович больше не кривился. После второй он пришел в благодушное настроение и похвалил нынешнее лето: благодать, тепло, и влаги хватает, дожди прямо-таки как по заказу, да еще с солнышком, кормов будет вдоволь, все быстро идет в рост.— Повезло нашему новому районному руководству,— сказал он вдруг.— С погодой? — спросил я.— С погодой,—усмехнулся Василий Иванович. Пелагея Семеновна почему-то опять поспешила перевести разговор в русло домашних забот. Узнав, что Василий Иванович завтра выходит на работу—отпуск закончился

—я сказал ему, что утром тоже пойду на фабрику—хочу поговорить с товарищем Храповым. - Ну что ж, сходите, если делать нечего, потолкуйте он вам три короба наплетет,—сказал Василий Иванович, нахмурившись, потянулся к бутылке, не ожидая зятя стал разливать оставшуюся водку.

11. У ХРАПОВА НА РАБОТЕ И ДОМА

В, поселке шелковой фабрики, который хотя и входит черту Красноборска, но отделен от него рекой и сосновой рощей, так же, как и на центральной городской площади, сразу бросаются в глаза напластования разных времен. Правда, особых древностей здесь нет. Самое давнее прошлое хранят длинные, многооконные деревянные бараки. Удивительно жизнестойки эти старые рабочие казармы. От дореволюционной фабрики остались одни железные решетчатые ворота—все цехи новые, с большими окнами, или так перестроенные, что их не отличишь от новых, а черные деревянные бараки стоят, и ничего им не делается.словно сам дьявол поставил их на веки вечные. Кроме этих барачков, в наследство новой фабрике от давнего прошлого осталось немного: густо затененный липами особняк фабриканта, темный магазинчик в каменном полуподвале, несколько халуп-развалюшек, базарчик с гнилыми, покосившимися навесами и щербатыми столами, обросшие зеленым мхом сваи на речке—следы давно развалившейся плотины, да несколько десятков старых сосен, стоящих вразброс по поселку, высоко подняв в небо свои кучьи кроны. Новые напластования тут начались с середины тридцатых годов, когда после реконструкции фабрики рабочие начали строить для себя, на государственные ссуды добротные избы с квадратными палисадниками перед фасадом и с чердачными окнами на переднем скате крыши, которые придают этим избам вид зажиточных домов с мезонинами. Тогда же жилстрой поставил для руководящих и инженерно-технических работников фабрики десяток коттеджей под острыми готическими крышами. Сейчас они выглядят здесь, как кучка хмурых иностранцев среди столпившихся вокруг них веселых русских мужиков. В нынешние годы фабрика строит возле сосновой рощи большие многоэтажные жилые корпуса из светлого кирпича. Издали на фоне леса они производят внушительное впечатление и кажутся красивыми, но вблизи больше бросается в глаза та голая пустота между ними, которую несколько скрадывает лишь развешанное на веревках белье. По сушившемуся белью и можно только отличить заселенные корпуса от корпусов, еще не законченных отделкой. Когда я заговорил с Василием Ивановичем, показывавшим мне по дороге на фабрику свои строительные объекты, о том, что однообразие новых домов и пустот между ними особенно удручают рядом с чудесной речкой и сосновой рощей, он сказал: — Да, сарайчиков тут не хватает. Все жильцы жалуются на это, но наш директор объявил войну всяким сарайчикам и те, что есть, грозится снести—мозолят они ему глаза. Я имел в виду газоны, клумбы, какую-нибудь зелень вроде сирени, но никак уж не сарайчики. — А вы спросите у людей, что нужнее пока — клумба или сарайчик с погребком. Нет, без сарайчика в Красноборске пока еще трудно жить,—сказал Василий Иванович и снова вернулся к тем дырам в городском хозяйстве и торговле, о которых уже говорил. Они-то, эти дыры, и вызывают нужду в сарайчиках и погребках. Василий Иванович не против того, чтобы жилищное строительство велось с заглядом в будущее, но он считает, что нельзя же совсем не принимать во внимание и сегодняшнее, а сегодня торговая сеть в таких маленьких районных городках, как Красноборск, еще не справляется с овощами и грибами—нет у нее для этого материальной базы. А на базарные дни нынче уже не приходится рассчитывать: после того, как колхозники окрестных деревень перешли в совхоз, привоз на базар стал сокращаться, большей частью торгуют одни городские бабы. Можно поверить Василию Ивановичу, что при такой торговле без сарайчиков и погребков красноборцам трудно обойтись, так же как и без своего огорода. Но, с другой стороны, если живешь на четвертом или пятом этаже, то и с сарайчиком

наплачешься. — В том-то и беда,—говорит Василий Иванович. Он выводит меня на зады многоэтажного жилищного массива и показывает на ряд деревянных домиков, строящихся на опушке сосновой рощи. Домики дачного типа, двухквартирные, с двумя террасами. По словам Василия Ивановича, именно такие домики сейчас больше всего устраивают семейных рабочих в Красноборске. Будь его воля, он бы погодил еще строить на городских окраинах многоэтажные корпуса. — Одно только преимущество у этих корпусов, что белье между ними, на сквознячке, быстро сохнет,—говорит он. Не философ Василий Иванович, совсем не философ — сегодняшний день для него все же превыше всего. Он провел меня через проходную фабрики, и возле конторы, где мы с ним должны были расстаться, я опять выразил сомнение насчет своей слишком спортивной экипировки. Хотя визит мой к товарищу Храпову и не носил официального характера, но все-таки...

А чего вам бояться, раз он видел вас в этой экипировке с самим первым секретарем? Теперь можете явиться к нему в кабинет хоть в одних трусиках—и глазом не моргнет. Я не совсем понимал, что его злит в Храпове—неужели только комичная важность этого, видимо, обиженного судьбой человека? Еще на торжественном вечере во Дворце культуры мне закралась в голову мысль, что Храпов—жертва каких-то жестоких обстоятельств. Мне хотелось докопаться до них, вызвать его на воспоминания о комсомольских годах, представить себе, какой он был тогда, и понять, что с ним случилось. Кабинет Храпова оказался действительно рядом с дикторским, но это был не его личный кабинет. В комнате стояло два письменных стола: один большой, в центре, у окна другой—маленький сбоку, возле дверей. Храпов сидел за маленьким столом, но все же он, а не молодой

человек, сидевший за большим столом, выглядел тут хозяином. Молодой человек, видимо, еще не привык к большим кабинетным столам, казалось, что он сидит на чужом месте. А Федор Иванович Храпов сидел за своим маленьким столиком, как дома, развалившись, вытянув ноги. Ну, как прошел вчера воскресник? —спросил я, поздоровавшись с ним. — Замечательно! — ответил он и, снова откинувшись на спинку стула, широким жестом пригласил меня: — Прошу. Присаживайтесь. Он, видимо, понял мой вопрос о воскреснике в том смысле, что я хочу взять у него интервью о шефской помощи колхозам, и стал расписывать мне, с каким энтузиазмом вчера шелковики после работы на фабрике работали на прополке кукурузы, какой невиданный урожай ожидается нынче и вообще какой начался подъем сельского хозяйства в районе благодаря новому руководству райкома в лице его первого секретаря. Неделя еще не прошла, как стал первым, а результаты уже видим. Потому что сумел мобилизовать все силы трудящихся города на помощь колхозам. В связи с этим Храпов пустился в рассуждения о пользе физического труда в деревне после напряженного умственного труда в городе, необходимости сочетания и в то же время преодоления различий того и другого. Рассуждения эти сопровождались энергичным постукиванием по столу карандашом и картинными поворотами головы, как будто он давал интервью перед объективом киноаппарата. Молодой человек, сидевший за столом, поднял голову, заулыбался. И тогда Храпов нахмурился, отложил в сторону карандаш, поглядел на часы, потом на меня: вот, мол, заболтался тут с вами. — Чем еще могу быть вам полезен? — спросил он, немного помолчав. Мне уже было не до комсомольских воспоминаний, и я ответил, что хотел бы поговорить о прошлом Красноборска, познакомиться с собранными им материалами. — Это разговор не на один час,—сказал он и поднялся из-за стола. Я решил, что он куда-то торопится, и тоже встал, но он никуда не уходил. Заложив руки в карманы, он шагал по комнате туда-назад сначала молча, а потом начал жаловаться, что устал уже читать лекции по истории Красноборска, заявок на них столько, что всех удовлетворить невозможно, да и что расскажешь за два часа, которые ему дают,—дали бы четыре, и то весь собранный материал не уложишь. Колоссальный материал, оформить бы его литературно и

издать... Продолжая расхаживать по комнате, он заговорил об историческом значении Красноборска—о том, что в древности этот город, отрезанный от всего мира непроходимыми лесами, был неприступной для врагов Руси крепостью — даже татары не могли им овладеть, а литовцы, так те не дошли до Красноборска — заблудились зимой в лесу и погибли все до одного. - Да, да, я это точно установил, —сказал Храпов, остановившись посреди комнаты и уставившись на меня своими светлыми выпуклыми глазами.—Могу подтвердить записанными мною многочисленными воспоминаниями школьников о находках в наших лесах человеческих костей. Выставить бы эти обглоданные волками кости в музей — пусть молодежь знает, что осталось от пытавшихся пробраться в Красноборск захватчиков. Одушевленный этой вдруг пришедшей в его голову мыслью, Храпов хлопнул себя по лбу: — Идея, а? Мы рассмеялись. Глаза у него стали ребяческими, он снова уселся за стол, развалился, закинул одну руку за спинку стула и стал мечтательно глядеть в потолок. И я тоже сел, подумав, что сейчас-то мы с ним разговоримся. — Конечно, я могу прочитать вам лекцию,— сказал он вдруг.—Но какой интерес мне читать лекцию для одного человека? Я люблю большие аудитории.—И спросил: —А как вам понравилось мое выступление во Дворце культуры? Про гимназисток очень интересно,—сказал я.— Наверно, вы еще много такого могли бы рассказать. — Вот на какую книгу хватило бы,—он поднял руку на полметра от стола,—если бы только кто-нибудь помог мне в литературном оформлении материала, а то у меня, когда я рассказываю, говорят, очень живо получается, а когда пишу—суховато. И опять начал блуждать взглядом по потолку.

- Вспомнили бы что-нибудь из своей комсомольской жизни,—попросил я, идя напролом. - А конкретно,—сказал он,—что вас конкретно интересует, а то, знаете, я что-то не пойму, какой вам нужен от меня материал. | Трудно было мне, но я все-таки постарался объяснить ему это. ; - Понимаю,—сказал он наконец.—Вам нужны яркие эпизоды. Могу дать вам их сколько угодно, но сейчас нас начинается перерыв, и я должен сходить домой пообедать и немного отдохнуть. Так что вам придется подождать меня тут с часок. Храпов встал, оглядел себя спереди и с боков, вывернул по очереди оба локтя, с одного что-то смахнул, обдернул пиджак, открыл книжный шкаф, вынул из него свою соломенную шляпу, надел ее, поправил на голове и, не оглянувшись, молча скрылся за дверь. Я обернулся к оставшемуся в кабинете молодому человеку. Мне было немножко совестно перед ним. Он сидел за столом, работал, а Храпов, разговаривая со мною, расхаживал по комнате, будто мы с ним одни тут. Но по улыбке, с которой смотрел на меня сейчас этот молодой человек, видно было, что он далек от мысли обижаться на Храпова, наоборот—испытывает истинное удовольствие от представления, которое тот задал, разыгрывая передо мною важного начальника. Я подумал, что этот молодой человек с все понимающей улыбкой, наверное, знает Федора Ивановича как облупленного, хотя по возрасту и годится ему в сыновья.— Скажите, пожалуйста, по должности кто сейчас товарищ Храпов? — спросил я. И он объяснил мне, что должность для товарища Храпова сейчас особого значения уже не имеет, так как он скоро выходит на пенсию, да и все равно соответствующей его стажу должности для него уже не подобрать, а для получения пенсии имеет значение только зарплата, и поэтому Храпов числится его заместителем, а на самом деле занимается подборкой материалов по истории фабрики. — Федор Иванович у нас заслуженный ветеран гражданской войны, самый старый в городе комсомолец,— сказал он с той же улыбкой, говорившей, что ничего не поделаешь — надо беречь свои героические традиции. Мне не надо было говорить ему, кто я такой и что меня привело к Храпову,— он и без того все понял. Убрал лежавшие у него на столе бумаги в сейф, молодой человек предложил мне пойти с ним в столовую пообедать.

За обедом он спросил, почему я так интересуюсь прошлым, когда сейчас в литературе требуется современность. — А у нас есть много людей, о ком можно

написать—сказал он.—Например, ткачиха Шурочка Круглова, героиня нашего города, высшие показатели по сортности. Я спросил: А о товарище Храпове, думаете, не стоит писать? Прошное у него героическое, а сегодняшнее — ну что о нем напишешь?—ответил он. По-моему,—сказал я,—о каждом можно написать. Положим, обо мне вы ничего не напишете,—сказал он. — Почему?— Начальник отдела кадров—это не та работа, что-бы о ней писать. Раньше он работал на фабрике поммастера, потом секретарем комсомольского комитета. Сейчас учится в заочном текстильном институте и после окончания его намерен тотчас же перейти на работу в цех. Он того мнения, что его нынешняя работа в отделе кадров не перспективна. В общем, этот молодой человек отлично понимает, что главное—это производство материальных благ, и полагает, что только люди, которые занимаются этим, заслуживают того, чтобы о них писали. Мы вернулись в кабинет. Храпова еще не было. Я стал перелистывать лежавший на его столе комплект районной газеты «Красноборское знамя» и обнаружил целые полосы, сплошь исчерканные красным карандашом. В окружении огромных восклицательных и вопросительных знаков стояли размашистые резолюции: «политически неверно», «теоретически необоснованно», «грубая недооценка», «излишняя переоценка», «клевета на действительность», «извращение фактов», «грубейший ляпсус». Я пришел в ужас—ну и газетка! И как она еще существует? Поинтересовался, кто это столько грозных резолюций наложил, и молодой начальник кадров сказал мне, что Федор Иванович воюет с редакцией. В каждом номере находит какую-нибудь грубую ошибку и сейчас же звонит в райком, а потом пишет в обком. Страшно строгий человек насчет всяких политических формулировок. Вернувшись, Храпов принес с собой какой-то большой сверток в бумаге, вместе со своей соломенной шляпой положил его на полку книжного шкафа. Потом, усевшись за стол, причесал гребешком несколько волосков, и без того аккуратно лежавших поперек его лысины, поддернул вверх галстук, отдернул вниз отвороты пиджака, стряхнул с них что-то кончиками пальцев и, поглядев на меня после всего этого, спросил: — Ну, так о чем же мы с вами будем беседовать? И я опять начал объяснять, о чем мне хотелось бы поговорить с ним. — Нет, вы укажите мне точно, какие вам нужны эпизоды — по истории комсомола, или по истории Красноборска, или же по истории шелковой фабрики? А то я все-таки никак не могу понять, какая у вас тема,— сказал он. — Да никакой темы у меня пока нет,— сказал я. — Как это так нет? — не понял он. По его взгляду, вдруг упершемуся мне в лицо, похоже было, что он заподозрил меня в каком-то тайном намерении и старается добраться до него. «Да,—подумал я,—трудно подступиться к товарищу Храпову». Я не знал, как ему втолковать, что мне не нужно от него никакой помощи—просто-напросто хочется познакомиться со своим сверстником по комсомолу. Решив, что говорить запросто с ним невозможно, я сказал, что меня интересует не история сама по себе, а люди, которые двигают ее, такие вот, как он, ветераны. — Я не Суворов и не Багратион, чтобы говорить о моей роли в истории,— сказал он, устремился взглядом ввысь и добавил:—Но, между прочим, есть исторические документы, в которых упоминается и моя фамилия. — Вот видите! — Я был рад, что наконец-то, кажется, нашлась зацепка для разговора. Храпов опять вышел из-за стола, сунул руки в карманы, зашагал. Теперь уже очевидно было, что он готов предаться воспоминаниям. Однако радость моя оказалась преждевременной. Молодой начальник кадров, перелистывавший какие-то бумаги, сидя за своим большим столом, поднял голову и снова заулыбался. И Храпов, тотчас помрачнев, сел на свое место. — Ну что я вам буду рассказывать, как подавлял восстание анархистов-максималистов на бронепоезде?! Это получится нескромно. Зачем мне это надо?—сказал он. Кто-то вошел в кабинет, подсел к столу начальника, поговорил с ним тихо и тоже стал поглядывать в нашу сторону с улыбкой. Подумав, что кабинет—неподходящее место для разговоров с товарищем Храповым,—неудобно устраивать тут спектакль, я спросил, не разрешит ли зайти к

нему после работы домой. — После работы я пойду в баню. Сегодня у меня банный день, — сказал он.

— А если я приду попозже? Он думал-думал и наконец сказал: — Только попозже, а то я люблю как следует попариться. Я решил, что ничего не поделаешь — раз хочу поговорить, с товарищем Храповым в домашней обстановке, то надо запастись терпением и подождать где-нибудь, пока он закончит свой рабочий день и как следует попарится в бане. «Пожалуй, после бани с ним будет проще разговаривать, тем более если захвачу с собой пол-литра, кстати, баня — хороший предлог для этого», — подумал я и из конторы фабрики направился по домашнему адресу Храпова, чтобы поглядеть, где он живет, и потом не искать. Первый коттедж от реки, со злой собакой на калитке сказал Федор Иванович. Но он упустил из виду, что фабричные коттеджи, или директорские дома, как их тут называют, стоят двумя рядами и следовательно, первых от речки два: по одну сторону улицы и по другую. И тут и там со всех калиток глядела на меня одна и та же выгравированная на металлической дощечке собачья морда со стоящими торчком ушами. Обычная в этих стандартных поселках история — тебе нужен номер дома, фамилия жильцов, а на тебя со всех сторон глядят с калиток одни собачьи морды. Хотя калитка и не заперта, а попробуй-ка войти... Нет, уж лучше не искушать судьбу. Достучавшись наконец, я спросил у появившейся в калитке старухи, где тут живет товарищ Храпов. Она стала думать: какой же это Храпов? А когда я назвал его имя и отчество, сказала: — Есть у нас Федор Иванович, но так это супруг Малининой. Вон на том углу живут — Толстенький лысый? — Да, кругленький такой. Супруга ихняя — главный инженер на фабрике. — Вот мне его-то и надо. — Так бы и спрашивали: супруга Малининой, — сказала старуха. — А то я думаю, какой же это Храпов — нет у нас на улице никаких Храповых. Знает ли бедный Федор Иванович, что для своих соседей он только супруг Малининой? Тут, у шелковой фабрики, Дрема не та, что по другую сторону города, куда красноборцы ездят купаться на велосипедах и мотоциклах, а москвичи приезжают по воскресеньям на автомашинах. Дрема всюду разная: там она течет вольно, вся открытая солнцу, а тут извивается в ивовых зарослях, и песчаные пляжики в этих зарослях такие маленькие, что как раз только одному человеку поваляться на песке или посидеть с удочкой. На один из этих укромных пляжиков я и забрался. Выкупавшись, я долго лежал на песке под старой ивой и, глядя на воду, думал: «А вдруг, ну если не щука бултыхнется, то хоть какая-нибудь рыбешка всплеснет?» Мне бы лишь поглядеть, что рыба в реке еще есть, а то я уже боялся, что она уходит в область преданий. Раньше я любил большие реки, открытые берега которых видны до самого горизонта, а теперь вот меня больше тянет на маленькие извилистые речушки с укромными, тихими, в закрытых берегах плесами, где только и слышно, как медленно течет вода и летают вокруг стрекозы, а если уж всплеснет какая-нибудь рыбешка, то кажется, что это бултыхнулась пудовая щука или сом. Водомерки бороздили воду у берега, но рыбы не видно и не слышно было. И вдруг где-то недалеко от меня, за кустами, что-то забухало, заухало, забултыхалось, заплескалось. «Вот она где, рыба-то!» — обрадовался я, вскочил, вбежал в воду по пояс, заглянул за кусты, увидел кучу голых мальчишек, ожесточенно бивших кого-то в воде палками и корягами, сгоряча кинулся к ним на помощь, вырвал из рук одного мальчишки дубину, с которой ему невмочь было управиться, размахнулся и что было сил ударил по тому месту, где, мне казалось, ворочается в воде еще не добытый сом. — Куда ботаете?! Ботайте на наметку! — закричал кто-то из мальчишек. И прежде чем я сообразил, что тут происходит, мальчишки завопили: — Есть! Большущая! Держи ее!, Хватай под жабры! И кучей кинулись к наметке, которую старший из них стал поднимать из воды. В толчее один шустрый карапуз был сбит с ног и рухнул в воду прямо на наметку. И в тот же миг из-за его плеча высунулась острая морда щуки. Изогнувшись своей темной пятнистой спиной и белым брюхом, щука подскочила, шлепнулась в воду и,

прочертив ее черной тенью, ушла из горловины перегороженной наметкой заводи в реку. — Ах!—воскликнул я, кинулся было за щукой—и увидел вдруг появившегося среди мальчишек голого, в одних трусиках, с намыленной головой Федора Ивановича Храпова,—откуда он тут, неужели прямо из бани примчался? — Эх и дурошлепы же! Такую щуку упустили!—ругал он мальчишек, а потом стал командовать, куда ставишь наметку, с какой стороны ботать, и сам, вооружившись рогатым суком, полез в воду. Сначала он не замечал меня. Мыло у него стекало на глаза, он тер их, промывал, наконец догадался, в чем дело, и сунул голову в воду. После этого, оглядевшись, увидел меня.— А, и вы тут! Давайте, давайте!—И снова заколотил по воде рогатиной. Кончилось тем, что он умаялся и сказал: — А ну ее, эту щуку, к дьяволу! — И кинул рогатину ни берег. А потом пожаловался мне, что с баней у него сегодня не получилось — закрыли на ремонт. Оказалось, что, придя на речку помыться, он расположился на соседнем со мною пляжике, и, когда мальчишки заботали в заводи, мы почти одновременно с ним выскочили из кустов: он — с одной стороны, я — с другой. Одевшись, я показал ему припасенные мною для душевного разговора пол-литра. — Что же, не возражаю,—сказал он.—Сейчас придем, яишню соображу. Идя с речки к нему домой, мы говорили о рыбной ловли. Он сказал, что сидеть с удочкой не любитель, а поботать на наметку всегда готов и знает, где щуки таятся,—в детстве поймал плетушкой одну фунта на три. — А с тех пор? — спросил я, — Что-то не везет больше,— ответил он. У калитки своего коттеджа он предупредил меня: — К собаке близко не подходите, а то разорвет. Она сидела на цепи у будки в глубине двора, и только это спасло меня. По сравнению с ней собака, изображенная на калитке, выглядела самой мирной на свете тварью. По размерам это было нечто среднее между волком и медведем. — Видите?—спросил Федор Иванович.—Сидит но шевелюсь и звука не издаст. А попробуй-ка подойти к ней один! Брат в подарок мне привез на самолете из Канады двухмесячным щенком. Редчайший экземпляр! Потом он провел меня мимо этого огромнейшего пса в сад и показал белые розы, тоже необычайной величины. — Из Китая,— сказал он.— Подарок другого брата. Оба они у меня генералы. Один в оборонной промышленности, другой в авиации. Да, не позавидуешь человеку: братья— генералы, жена тоже большое начальство, а сам кто он сейчас? Если бы не жена — не жить бы ему в коттедже. Коттедж с мезонином: внизу две комнаты с кухней, третья наверху. Федор Иванович повел было меня вверх узенькой крутой лестницей, но потом раздумал и повернул назад.

— Там у меня не порядок,— сказал он. Не было порядка и внизу. Казалось, что хозяева, переехав сюда с другой квартиры, еще не успели расставить вещи по местам. В большой комнате даже кадки с фикусами стояли кучей в одном углу, словно их только что втащили в дом. В соседней комнате плакал ребенок. Извинившись, Федор Иванович пошел туда и вскоре появился в дверях, пятясь назад с детской ванночкой, которую он тащил вдвоем с какой-то очень сердитой девицей. В ванночке колыхалась, выплескиваясь на пол, зеленая хвойная вода. Пропятившись мимо меня, Федор Иванович снова извинился и сказал: — Минуточку. Я сейчас. Потом он появился с половой тряпкой, подтер пол, отнес тряпку на кухню и стал объяснять, почему в доме стоит ералаш—гостит внук брата-генерала, родители уехали на курорт в Чехословакию, перед отъездом привезли его из Москвы вместе с няней, а эта няня не дай бог какая капризная—все ей тут после московской квартиры не нравится, хотя сама недавно из деревни и паспорт еще не сумела выправить. -- Да,—спохватился он.—Раз бутылка уже стоит на столе надо мне скорее яишной заняться. В домашней обстановке Федор Иванович не важничал. Чего уж важничать, раз самому приходилось подтирать полы, возиться на кухне, подавать на стол? Второпях, справившись со всем этим кое-как—яичница все же подгорела,—Федор Иванович сел за стол и сунул за ворот салфетку. После первой стопки мы с ним быстро добрались до своей теперь уж

такой далекой комсомольской поры, стали вспоминать те годы. Федор Иванович и не заметил, как сунутая им за ворот салфетка соскользнула на пол. Выпили по второй—за приятное знакомство. По-настоящему сейчас оно только и началось. Разговор у него на работе я уже и в счет не принимал. Пришла его задержавшаяся на фабрике сумрачная жена, замялась в дверях. — Вот вспоминаем, мамочка, как в восемнадцатом году комсомол организовывали,—сказал ей Федор Иванович.— Подсаживайся-ка к нам. Малинина молча кивнула мне и села, но не к столу, а на краешек кушетки, стоявшей чуть поодаль от него,— ни села, а присела на минуточку. Теперь эта пожилая женщина с болезненно темным лицом и сильно скошенными к носу глазами, показавшаяся мне во Дворце культуры властной, выглядела растерянной,—вероятно, причиной тому был неожиданный в доме гость.

— Помнишь, Любочка,—заговорил, обращаясь к жене, Федор Иванович,— как наша ячейка до ночи заседала, запершись на ключ, чтобы никто не подслушал наших секретов?—И обернулся ко мне:—Комната была на втором этаже, и вдруг глядим—в окно кто-то подсматривает. Подскочили все к окну—никого нет. Что за черт! Кто это за нами шпионит? Дело было зимой—в окнах двойные рамы, не откроешь. Выбежали всей ячейкой на улицу и видим — какая-то женщина в полушубке слезает с приставленной к окну лестницы. Люба—это она вот, супруга моя—опознала свою мамашу. «Ты чего это, мамка, подглядываешь?»— кричит ей. А та на нее с криком: «Чего одна с парнями по ночам в комнате запираешься?» Одна она из всех фабричных девчат, мамочка моя, была тогда у нас в комсомольской ячейке. Он принес третью стопку, наполнил ее наполовину и поднес своей супруге: — Выпей, Любочка, чуточку. Малинина молча отстранила стопку рукой.— Да, пожалуй, лучше не надо,—сказал Федор Иванович и, вернувшись со стопкой к столу, пояснил мне: — Гипертония. Далекое воспоминание, растрогавшее Храпова, в памяти Малининой, видимо, едва пробивалось сквозь сегодняшние думы и заботы, так же как улыбка, которая при этом воспоминании чуть забрезжила на ее сумрачном лице и тут же погасла. В соседней комнате снова заголосил генеральский внук, и снова появившаяся в дверях сердитая нянька, не принимавшая во внимание ни хозяев, ни гостей, кинула на стол мокрую пеленку. Федор Иванович поднялся из-за стола, чтобы отнести ее на кухню, но вставшая с кушетки супруга взяла у него пеленку и понесла ее сама, как добрый христианин несет свой тяжкий крест. Я вспомнил, как в былые времена мы, укомовцы, спали в укоме на своих столах, подложив под головы папки с протоколами, как утром завтракали одними незрелыми яблоками из отданного в наше пользование бывшего купеческого сада, потом сами себе выписывали длиннейшие мандаты и разъезжались по сельским ячейкам, где только и наедались досыта. Так вот и жили, свободные от всяких материальных забот, в ожидании мировой революции. Нам не хватало одного только хлеба. — Ох, как не хватало!—сказал Федор Иванович и заговорил о своих братьях: как намучился с ними, придя с гражданской войны. Ему тогда еще девятнадцати не исполнилось, но он успел уже два года провоевать, два кубика и звезду носил на рукаве—политрук роты. Отца и матери уже в живых не было — померли от тифа,— братья-подростки беспризорничали, в школу не ходили, но он их заставил учиться. Вернувшись с гражданской, он стал работать в укоме комсомола, а тогда главной задачей комсомола было засадить молодежь за учебу. Вот он и решил, что начнет со своих братишек. Самому хотелось учиться, но сначала надо было, чтобы они выучились, а то совсем собьются с пути. Зарплата какая-то укомовцам шла, но они ее- месяцами не получали, жили, как птички божьи. А братишки из школы не домой идут—дома хлеба нет,— а в уком, просят есть. Хорошо еще, что упродкомиссар иногда сочувствовал—много лет вместе с его отцом работал на фабрике конторщиком,—в крайнем случае можно было у него выпросить записку на буханку хлеба. Потом Федор Иванович вспомнил о затеянной в те годы красноборскими комсомольцами дискуссии: скучно ли жить в

Красноборске?— Ну и задал же я им трепку!—сказал он.—«Как это так, говорю, можно ставить вопрос? Разве в Красноярске не советская власть, разве мы не строим тут коммунизм? А если строим, то какая может быть скука? Кому в Красноборске скучно, того надо из комсомола гнать. Так тогда на дискуссии и решили. А ребята все равно уезжали в Москву. И возражать нельзя было—учиться уезжали. Окончив школу второй ступени, уехала Люба Калинина, один за другим уехали оба его брата, а он все си дел в укоме комсомола. Его не отпускали, говорили: Ты руководящий работник, поедешь, когда тебе будет смена». А потом послали на укрепление партийного руководства шелковой фабрики. Люба вскоре после того вернулась в Красноборск инженером, они поженились, и он уже сам не стал проситься на учебу. Правда, поступил в заочный техникум, но не окончил—на фабрике началась горячая пора социалистической реконструкции. С партийной работы перебросили на административно-хозяйственную. Так и пошел по этой линии, с одной должности на другую. Чем только не приходилось заниматься! Мы неторопливо допивали водку, разговаривали, вспоминали многое. Я все ждал, что Федор Иванович, расчувствовавшись, пожалуется на судьбу, но он и не думал жаловаться. Наоборот, по его словам получалось, что жизнь он прожил неплохо, доволен ею. Часто перебрасывали с одной работы на другую, ну так не одного же его перебрасывали — видно, нужно было для пользы дела, тем более что каких-либо своих пристрастий у него не было. Партийных взысканий у него нет—было два выговора за некоторые упущения по работе, от которых никто не может заречься, но давно уже сняты, а наград много. Воевал он не только в гражданскую, но и в эту последнюю войну был инструктором политотдела, имеет несколько тяжелых ранений. Да, конечно, заслуженный человек. А вот такая печальная история—никто больше всерьез не принимает. В чем тут дело? Его надутая важность, его каменная неприступность, конечно, смешны. Но откуда это у него? С чего вдруг он раздувается, как пузырь? Из подражания кому-то? А может, от ущемленного самолюбия? Сейчас вот он никого из себя не корчит. Мы говорили с ним о прошлом, каждый вспоминал свое, и все было одинаково близко нам обоим. Но как только мы коснулись сегодняшней красноборской жизни, заговорили о том, вокруг чего все время вертелся разговор у меня с моим квартирным хозяином, я сразу же наткнулся на стену—Федор Иванович начал важно изъясняться общими газетными фразами, а о Василии Ивановиче сказал с раздражением: — Ну кто же его не знает?! Известный критикан. Во все нос сует, и все ему не так. Потом он выложил на стол свои материалы, и мы снова ушли в прошлое. От Федора Ивановича Храпова я возвращался поздно вечером. На улице было темно, и он пошел показать мне дорогу. Мы продолжали разговор о его материалах. Его все беспокоило, что он не сумеет сам литературно оформить их,— столько труда затрачено, жаль, если все пропадет даром. Я нашел в его материалах живые странички истории Красноборска и далекой древности и нашей, советской поры. Похоже, что в этой работе, которой Федор Иванович занялся уже на склоне лет, он наконец-то нашел свое истинное призвание. В каком-то темном проулке на окраине города он вдруг остановил меня возле, маленького, осевшего в землю домика с одним светившимся окном. — Тут жил упродкомиссар Морозов, мы звали его дядей Лешей,— сказал он.— Подойдешь вечером к этому окну —за окном лампа на столе горит, дядя Леша сидит, читает газету. Постучишься, он откроет окно, посмотрит. «А, это ты, Федька!—скажет.—Ну как, воспитываешь братьев?»—«Плохо, дядя Леша, есть нечего»,—говорю. «Да, если есть нечего, дело плохо, надо вам помочь», — скажет он, оторвет уголок газетки, послунявит его пальцем и напишет химическим карандашом: «Выдать подателю сего товарищу Храпову буханку хлеба на воспитание двух братьев-сирот».—Он взял меня под локоть, отошел от окна в темноту и сказал:—Отсюда вот какая-то сволочь две пули всадила ему в лоб из нагана. Весь город хоронил дядю Лешу. Мы еще немного постояли у этого одиноко

светившегося в темном проулке окна. Кто там, в этом домике, живет сейчас? Федор Иванович точно сказать не мог, кажется какие-то родственники погибшего упродкомиссара. Когда я вернулся к себе на квартиру, мой хозяин сидел на кухне, читал газету. Где же вы это пропадали весь день? — спросил он. — У товарища Храпова просидел. Ну и что же? Он заранее торжествовал. Разговаривать с ним о Храпове мне не хотелось. Я ответил уклончиво: — Познакомился с его материалами. Все равно Василий Иванович не понял бы меня: какое ему дело до незадачливой судьбы этого человека? Он его терпеть не может. Ох и досадил же ему, наверное, в некую пору товарищ Храпов!

12. ШУРОЧКА КРУГЛОВА И ЕЕ БЕДЫ

Утром, когда я проснулся, Василий Иванович сказал, что заходил его сосед Алексей Афанасьевич, вернувшийся вчера из Петухов, и велел мне передать, что сегодня утром собирается на рыбалку, так что, если я еще не раздумал, могу пойти с ним. При этом Василий Иванович намекнул, что идти придется далеко; стоит ли бить ноги? А потом, увидев, что от рыбалки меня нелегко отвадить, спросил: — Ну, а до вечера какие у вас планы? Я сказал, что никаких планов у меня нет, и Василий Иванович предложил мне в таком случае сходить с ним к Шурочке Кругловой. У него было к ней дело. У Кругловой недавно помер в деревне отец, и она ждала к себе мать, собравшуюся переехать к ней, — Только вот избу продаст. То, что мать приедет, это Шурочке, как сказал Василий Иванович, кстати — поможет по хозяйству и с детьми, а то дома все в забросе. Но вот с жилплощадью беда: муж, двое детей, а комната одна. Когда-то еще будет готов двухквартирный дом, в котором она получит три комнаты с кухней. Будущие жильцы этих двухквартирных домов строят их сами в порядке народной стройки. Другие после рабочего дня проводят по четыре, а то и по пять часов на стройке, работают дотемна, ей же и один час выкроить трудно — кроме домашнего хозяйства, масса общественных дел: депутат горсовета, член фабкома, разных комиссий. На стройку один муж ходит. В связи с этим Василию Ивановичу и нужно было кое о чем договориться с Кругловой. Предложив мне пойти с ним, он сказал: — А то чего вам попусту-то топтаться?

Со всей своей самостоятельностью и независимостью Василий Иванович тоже порядочный таки деспот. Его «попусту» относилось не только к рыбной ловле. Ходить к Храпову, разговаривать с ним — для него тоже попусту: не стоит того человек. А вот к Шурочке Кругловой надо пойти, обязательно надо с ней познакомиться. Конечно, не потому, что она считается героиней, боже упаси, совсем не потому. Какая она героиня? Просто отличная работница, которую замучила созданная вокруг нее шумиха. Мы пошли, и по дороге к фабричному поселку Василий Иванович все говорил об этой шумихе — какой она вред приносит и зачем только раздувают ее. Человек не кукла, нельзя им играть, хотя бы и для примера другим. Я вспомнил тех бетонщиков и каменщиков, вокруг которых некогда сам раздувал газетную шумиху, — как в погоне за рекордами на стройплощадках устраивались чисто цирковые представления, как людей мгновенно возносили на вершины славы и как печально обернулось это для некоторых из них. Но оказалось, что все это никакого отношения к Шурочке Кругловой не имеет, и в данном случае Василий Иванович ведет речь вовсе не о том. Никаких сногшибательных рекордов Шурочка не завоевывала, ни в каких цирковых представлениях не участвовала, все то, чего она достигла на своих станках, — результат ее повседневного добросовестного труда, к тому же она гонится не за количеством, а за качеством — дает шелк только высшего сорта. Но если так, то при чем же тут шумиха? — А мало ли у нас людей, которые работают за совесть? Одного вознесешь, а десять обидишь, — ответил Василий Иванович и стал говорить, что рабочему человеку не слава нужна, а справедливость и уважение: всех не прославишь, кто честно и с любовью работает. А потом сказал: — Спросите Шурочку, как ее подруги заедают. Шурочка Круглова жила на четвертом этаже одного из тех многоэтажных корпусов из

светлого кирпича, которые за последние годы шеренга за шеренгой выстраиваются на пустыре между Красноборской фабрикой и сосновым лесом. Тут нет заборов и злых собак за ними, но и здесь разыскать человека нелегко. Василий Иванович бывал уже у Шурочки, но, прежде чем мы нашли ее подъезд, нам пришлось порядочно поблуждать, ныряя туда и назад под развешанное на веревках белье между этими не отличающимися один от другого, как солдаты в строю, корпусами.

Соседка Шурочки, открывшая нам дверь, сказала: — А к ней только сию минуту мать из деревни приехала.—И сердито показала глазами на стоявшее посреди передней ведро, возле которого в луже расплеснутой по полу воды лежала мокрая тряпка. Видимо, Шурочке пришла очередь мыть пол в общей передней, но только она взялась за тряпку, как нагрянула мать из деревни, и соседка была недовольна, а тут еще кто-то явился. Когда теперь будет вымыт пол? — Ну проходите, проходите! Не топчитесь,—сказала соседка. Прижимаясь к стене, мы прошмыгнули мимо лужи. Василий Иванович постучал в дверь. Шурочка появилась в дверях растрепанная, босая, в подобранной выше колен юбке. — Ой!—воскликнула она и скрылась за дверью, высунула из-за нее голову, сказала:—Я сейчас. Через минутку снова появилась в дверях с охачкой одежды и туфлями в руках, сказала: — Заходите. Посидите. Я сейчас. Только приберусь.—И, проскользнув мимо нас боком, кинулась на кухню. Ее мать, старая, но еще крепкая на вид женщина, сидела посреди комнаты на стуле, возле которого лежали ее узлы и корзинки. Голова повязана платком, руки сложены на коленях, на лице—выражение терпеливого ожидания, будто сидит на вокзале. Мы тоже сели на стулья, выдвинув их из-за стола. Василий Иванович тотчас завел разговор со старухой. — Значит, теперь уже окончательно в город? — спросил он. — А куда же деваться? Хозяин помер. Деревеньку нашу свезли. — Всю начисто? — На какие избы покупатели нашлись, те и свезли. А наша осталась—нет больше покупателей. Стоит одна-одинешенька. — Знаю ваше Заболотье,—сказал Василий Иванович.—Самый дальний угол Петуховского лесничества. Маленькая была деревенька. — Восемнадцать дворов, а мужиков-то, которые землю пахали, почитай, один мой хозяин был. Все плотники. Артелью ходили на заработки. А потом разлетелись кто куда. — И пашня вовсе сорным лесом поросла? — А кому пахать-то? Хозяин мой как лошадь в колхоз свел, так в ту же зиму лесником нанялся. А больше, почитай, и не осталось в деревне никого из мужиков. Бабы еще были, пока избы не свезли в город. Потом одни мы стали куковать в лесу. Помер мой хозяин, и похоронить некому было. Хорошо, из лесничества приехали, помогли. Вернулась переодевшаяся Шурочка, села, шумно передохнула и заговорила: — Да, Василий Иванович, вот и кончилось наше Заболотье. Теперь совхоз будет строить там механизированную ферму. Бетонку проложат. Электричество проведут. Ах, какие места! Цветов-то, цветов сколько! Идешь, бывало, по лугу, присядешь—и вся с головой в цветах, будто в букете сидишь. А речка наша Ржавка! Вся в золоте, когда кувшинки цветут. А омуты какие черные! Вспомнишь эту красоту—дух захватывает.—Она говорила быстро-быстро, как тогда, на торжественном собрании. Вдруг обернулась ко мне.—А вы, товарищ,—простите, не знаю, как вас зовут,—не бывали у нас в Заболотье? Василий Иванович представил меня, сказал, что я пришел познакомиться с ней, но она, будто пропустив это мимо ушей, продолжала говорить о своем Заболотье: какая там природа, как там хорошо, плохо только, что далеко в школу ходить было—пять километров, если напрямик тропинкой, лесом да еще через болота. — Соберемся у крайней избы, идем кучкой, жмемся друг к дружке и всю дорогу лесом орем страшным голосом волков разгоняем, чтобы не загрызли... Ой!—вскрикнула она.—Да что же это я! Вы же ко мне, наверно по делу, а я вам о волках! Я насчет стройки, поговорить надо,—сказал Василий Иванович. — Ах, и не говорите,—перебила она.—Мать вот приехала —куда ее положу? Сама уж думаю, как бы скорее кончить. Но время, время—где его возьмешь, Василий

Иванович? Завтра опять надо ехать: в область вызывают по обмену опытом. А муж — вы уж знаете, какой он у меня. Детей воспитывать трудно, а его еще труднее воспитываешь, воспитываешь, а он—за пол-литром и в лес со своими дружками. А когда Василий Иванович сказал, что дано указание дать на постройку этого двухквартирного дома рабочих, чтобы закончить его к концу месяца, Шурочка воскликнула: — Да что вы говорите?! Вот спасибо-то! Ой, как спасибо! Слышишь, мама, уже к концу этого месяца! Три комнаты, отдельная кухня, терраска—прямо как в своем доме будем жить! — И сарайчик с погребком,—вставил Василий Иванович, многозначительно глянув на меня. - И сарайчик,—повторила Шурочка. —А главное,сойдешь с терраски—и в сосновом лесу. Совсем как на даче, и от фабрики не дальше. Из коридора, приоткрыв дверь, в комнату высунуласьсоседка. А помойное ведро так и будет стоять посреди передней? — спросила она.— Ой!— опять вскрикнула Шурочка.—Я и забыла. Сейчас,сейчас. Василий Иванович встал. Договорился с ней относительно стройки и сказал: |— Ну, я пойду, а товарищ пусть еще побеседует с вами. Может быть, что-нибудь напишет о нашем Красноборске.Он упорно клонил меня к тому, чтобы я занимался своим делом, а не таскался со спиннингом по речкам. Видно было, что хозяйке не до меня, и я тоже встал, спросил: может быть, лучше зайти в другой раз, когда она будет свободнее? — Да нет, чего уж тут! Свободнее никогда не буду. Посидите. У меня до смены еще два часа. Я сейчас, сейчас, только вот в передней приберу, а то перед соседкой неудобно. Одну минуточку,—сказала она и выбежала комнаты. Мать ее пожаловалась мне: — Всю жизнь такая. Бывало, прибежит из школы и скорее избу прибирать—ликбез ей надо проводить дома. Сама еще только грамоте научилась, а уже неграмотных баб читать-писать учила. Задание у нее было такое—от пионеров, что ли, не знаю уж. Наплакалась она с ним. Бегает от одной избы к другой и ревет: «У меня, говорит, тетенька, задание ликбез проводить, я отвечаю за него, а вы не идете, сознания у вас нет». Ну, бабы и разжалобятся, соберутся у нас в избе на ликбез. Она слезы утрет и учит их буквы писать. Пока Шурочка прибирала в передней, старуха все время ругала ее: до сорока лет дожила, двух детей родила, сердце уже больное, а она все такая же пионерка, до сих пор живет в одной комнате, хотя давно уже могла получить отдельную квартиру, если бы не стеснялась напомнить о себе кому надо. Все для людей, для государства, а для себя ничего. Куда это годится? Лучше всех хочет быть— чересчур уж сознательная. Шурочка, вернувшись в комнату и услышав, что она чересчур уж сознательная, разволновалась. — Как тебе не стыдно, мама? Зачем чужие слова повторяешь? Кто это тебе сказал? Она вернулась раскрасневшаяся. Волосы у нее опять растрепались. Когда она тыльной стороной мокрой руки убирала с глаз спадавшие на них пряди, было похоже , что она утирает слезы. И вдруг глаза ее действительно налились слезами. Я испугался, что она сейчас разрыдается, не понимал с чего это, подумал: вот еще беда— снова некстати попал в чужой дом, надо скорее удирать. Смутился, залепетал: — Александра Николаевна, да что? Что вы? Ваша мама, наоборот, совсем наоборот... — Ужасно нервная я стала,—сказала она, села на стул против меня. Заговорила с полными слез глазами:—Ах если бы вы только знали, какие у нас еще люди есть! Во время войны я все, все узнала. Ох и мучилась же я тогда! Зимой из цеха не выходила—'страшно было высунутся: мороз, одежонка худенькая, общежитие пустое, нетопленное, одна я в нем, все по частным квартирам живут— ну чего идти? Заберешься в рулон картона и спишь в цеху. Все время голодная, съешь свой паек зараз, и еще больше есть хочется. У других свое хозяйство: огород, корова, кабанчик, курочки. Им что паек! А я дальняя,только перед войной приехала в город, кроме пайка, у меня ничего. Вот некоторые и эксплуатировали меня. Подумайте—эксплуатировали, прямо как настоящие кулачки.Не хотят работать в ночную смену — утром на базар надо идти,—так вместо себя меня нанимали за несколько картошек. Отработаешь свою смену и вторую батрачишь, чтобы

картошки поесть. Так всю войну и батрачила на них—зимой в цеху, а летом на огородах после работы. Не на кого-нибудь, а на своих фабричных, можно сказать подруг. А теперь эти подружки говорят: чересчур уж ты сознательная, больше всех коммунизма хочешь, ордена получаешь, по радио выступаешь, в газете про тебя пишут, фотографии помещают, на собраниях о тебе только долдонят, то туда вызывают, то сюда, всюду в президиуме сидишь, учишь, воспитываешь всех, а мужа своего воспитать не можешь, бросит он тебя—нужны очень ему твои ордена, когда дома ни огурчика, ни грибка нет... Да что же это я! —спохватилась она.—Ты же, мама, с дороги проголодалась. Сейчас чайник поставлю. И вы с нами, пожалуйста. Собирая на стол, Шурочка заговорила опять о двухквартирном доме, в котором она скоро получит три комнаты. Ну, теперь-то вздохнем, заживем. На зиму овощами сможем запастись: подпол там есть, будет, где держать картошку. Вот приезжайте к нам на будущий год, тогда и напишете, как мы живем тут в Красноборске. Сейчас о нас еще рано писать. Правда, Дворец культуры хороший, и стадион есть, лодочная станция на озере...Ой, кто-то звонит,—оборвала она себя.—Соседка обидется: все идут ко мне, а дверь открывает она. Шурочка выбежала и надолго пропала. Вернувшись, сказала:— Вы подумайте только, какая я беспамятная стала. Чуть не забыла, что сегодня заседание цехкома. Стоит вопрос о жилплощади в новых корпусах. Корпусов еще нет, но люди уже волнуются. Ткачиха вот одна прибежала. Знаете, как у нас еще не очень справедливо бывает с жилплощадью... Ну ладно, что же это я—чайник-то уже, наверное, вскипел. Сейчас принесу, пейте, а я побегу в цехком. Надо было уходить—не оставаться же со старухой чаевничать и вести разговор о каком-то Заболотье, которого уже не стало. Но не успела Шурочка принести чайник, как снова кто-то позвонил, и через минутку в комнату шагнула с папкой под мышкой секретарь горисполкома товарищ Любочкина. Не вошла, а именно шагнула энергичным, крепким шагом. И опять, как тогда, у ворот дома-развалюшки, мне показалось, что с этой маленькой женщиной в светло-желтом костюмчике того стародавнего стандарта, который в раймагах дожил до наших дней, с таким же стародавним красным гребешком в волосах я встречался уже много-много раз в жизни, и всегда она была точно такая же—какая-то независимая от времени, созданная на веки вечные в революционные годы нашей молодости. — А-а, вы уже тут?—сказала она, глядя на меня весело смеющимися глазами, как будто тоже знала меня давным-давно. Поздоровалась со старухой, потом, кинув вперед руку, шагнула ко мне: — Здравствуйте, товарищ. И «товарищ» прозвучало точно так же, как это слово долго звучало в моих ушах в девятнадцатом году, после того как я впервые зашел в горком комсомола. **Ох**, что я тогда пережил! Мне даже казалось, что я вижу, как у меня горят торчащие под фуражкой уши. Любочкина пришла к Кругловой по делу, касавшемуся той самой развалюшки, которую давно уже пора бы снести. Ей нужно было привлечь Шурочку к этому делу. С директором фабрики она уже разговаривала. — Ты же знаешь вашего идола,—сказала она Шурочке.— Говорю ему по телефону, а он перебивает: «Вы мне, пожалуйста, сопли не распускайте».—«Это, говорю, не сопли, а решение горисполкома по заявлению трудящегося»,—«Это я не вам, говорит он, а одному сопляку, который у меня тут в кабинете сидит».— «А меня вы будете слушать, товарищ директор?»—спрашиваю. Отвечает:—|Говорите, говорите, я послушаю». Опять все сначала повторяю. И он опять: «Вы мне сопли не распускайте—«А теперь кому вы это говорите?»— спрашиваю. Теперь вам, товарищ Любочкина».—«Интересно, говорю,|**как** вы, товарищ директор, понимаете заботу о живом человеке».— «А вы меня, говорит он, живым человеком не испугаете, давно уже слышу о нем».—Любочкина рванулась ко мне: — Как это вам нравится, товарищ? Он давно слышит о живом человеке, но ни разу еще не видел его. Есть ли еще где-нибудь такие идолы? Или только в Красноборске?Нет, это не казалось—я был уже почти убежден, что гда-то давно знал Любочкину и когда-то так же, возмущаясь чем-то, она спрашивала меня: «Ну

как вам это нравится, товарищ?» | Даже когда она возмущалась, глаза у нее были веселые-- очень спокойная и уверенная в себе женщина. Конечно же как бы там этот идол ни артачился, Любочкина спокойна, что все будет сделано так, как надо, по ее предложению, принятому горисполкомом: развалюшку снести, на ее месте построить спортзал, а жильцам обеспечить квартиру в новом фабричном доме. Совершенно уверена, что так будет. Она побывала уже по этому делу и в фабкоме, в общем-то договорилась, надо только проследить. Вот тут Шурочка и должна помочь ей и как депутат горсовета и член жилищной комиссии фабкома. — Ах!— опять заволновалась Шурочка.—Что же это будет?! Прямо совестно самой на новую квартиру переезжать—столько людей еще не удовлетворено, все обижаются... Шурочку беспокоило, что некоторые ее подруги, еще в сорок первом году кончавшие вместе с ней курсы поммастеров, до сих пор живут на частных квартирах. — Ну разве это справедливо!—говорила она.—Они тоже мучились в войну, когда мы узкоколейку строили на торфоразработки. Что было! Девчата деревья валили, тут же пилили, на себе возили из лесу, снег расчищали. Ох, как мучились-то! От голода шатались, руки обмораживали, а все-таки дорогу построили. Должна же быть, за это людям благодарность!.. Ой! Цехком-то, наверное, *уже* начался. Ну, я побегу. А ты, мама, приляг, отдохни с дороги. Ребята прибегут—сами себе картошки сварят, а то я нынче не успела управиться с обедом. Старуха все еще сидела возле своих узлов и корзин, как на вокзале. Попрощавшись с ней, и мы с Любочкиной вышли в пе реднюю. В квартиру опять позвонили. Шурочка, собравшаяся выйти из дому, открыв дверь, воскликнула: — Серафима Павловна!—И всплеснула руками. -Ах, как жаль! Бегу — опаздываю уже. Серафима Павловна вошла в переднюю такая же яркая, напудренная и покрашенная, как и тогда, на торжественном вечере во Дворце культуры, когда она показалась мне издали молодой и очень красивой. Теперь на ее бело-розовом лице видны были густые сетки морщинок. Они, как тени, лежали под ее сияющими голубыми глазами, на висках и у рта—ей, наверное, было уже под шестьдесят. Так же, как и тогда на сцене, она обняла Шурочку, громко расцеловала ее и стала ластиться к ней. — Только на минуточку, на одну минуточку. С большущей просьбой к тебе,—заворковала она.—Дай уж мне, дорогая, похвастаться тобой перед моими девчонками. Пусть знают, какие у меня были ученицы. Выпускной вечер сегодня у них. Хоть на полчаса зайди, расскажи, как боролась за сортность после перехода на мирный ассортимент. А то они очень гордые—все нынче со средним образованием: нам что, мы, мол, не просто ткачихи, а ткачихи-десятиклассницы.—Она взяла Шурочку под руку и потащила ее.—Ну пойдем, пойдем, раз торопишься. Они вышли на лестницу, и мы с Любочкиной—за ними. И на лестнице Серафима Павловна продолжала ластиться к своей прославленной ученице, что-то жарко нашептывала ей на ухо, и пока мы спускались, она на каждой площадке победно оглядывалась на нас, будто торжествовала, что вот заарканила такое диво и кого захочет, того и заарканит—такая она отчаянно хитрая баба. Вот приведет сегодня Шурочку на выпускной вечер школы фабричного ученичества, и та опять будет расхваливать и благодарить ее за учебу, и все будут кричать: «Серафима Павловна! Серафима Павловна!»—и громко хлопать ей. Уже пятый год грозитя уйти на пенсию,—шепнула мне товарищ Любочкина.—И еще лет десять, наверное, будет грозитя. Вдова, одна со взрослой дочерью живет. На танцплощадку вместе ходят: ну что ей делать дома? Когда мы вышли из подъезда, Серафима Павловна с Шурочкой повернули на фабрику, а я пошел обратно в город вместе с Любочкиной.по дороге расспрашивал ее и о Шурочке и о Серафиме Павловне. Шурочку она всячески расхваливала,Серафиму Павловну тоже похвалила: хорошая мастерица сорок лет работает на фабрике, а раньше, когда девчонкой была, работала на ткацком станке дома, с матерью. Одно только не нравится ей в Серафиме Павловне- шестьдесят лет женщине, двух мужей схоронила, но по всему видно, что норовит еще в третий раз

выскочить замуж.- Ну как, написали уже что-нибудь? Когда читать будем? спросила она потом. Я посмеялся и сказал, что пока в голове еще ничего складывается, если напишу, то, вероятно, не раньше, чем через год или два.- Ну, это неинтересно,— сказала она.—Я думала, сейчас будете писать.

13. ЕЩЕ ОДНО ЗНАКОМСТВО

На шатком пешеходном мостике через Дрему стояло много людей— неторопливых прохожих, остановившихся поглядеть на мальчишек, которые затеяли здесь, на прозрачном мелководье, ползать вперегонки по дну речки в противогазовых масках с гофрированными трубками. Концы трубок торчали из воды, привязанные к нестерпимо блестящим на солнце мокрым резиновым кругам автомобильных баллонов. Кому в годы военной службы приходилось таскать в походах и на учениях противогазные сумки на боку, тот не мог не порадоваться, что это опостылевшее солдатам оружие индивидуальной защиты наконец-то попало в руки мальчишек и нашло себе прекрасное применение на речке. И мы с Любочкиной постояли на мостике, глядя, как под стеклянной водой мальчишки с длинными хоботами извиваются на ребристом донном песочке. Остановившийся рядом молодой человек нацеливался на них фотоаппаратом.— Для газеты думаешь щелкнуть?—спросила его Любочкина.— Не та тема, чтобы редактор пропустил,— ответил парень, не оборачиваясь.— Мелочи жизни,—сказал он, щелкнув, и сейчас же снова нацелился. — Наш красноборский литературный талант,—сказала мне Любочкина и засмеялась.—А вот на факультет журналистики не приняли—с треском провалился на русском языке. — Не провалился, а по конкурсу не прошел,—поправил ее несколько не смутившийся парень и снова щелкнул. Только после этого он обернулся, и я увидел широкое лицо с небольшим приплюснутым носиком —совсем Любочкина, если бы не густо-черные сросшиеся брови и тугие толстые губы.— Мой меньшой брат Костя—литсотрудник районной газеты,—сказала Любочкина, знакомя меня с ним. Когда мы пошли дальше, Костя, сунув фотоаппарат в болтавшийся на его груди футляр, молча зашагал рядом, искоса поглядывая на меня,—видимо, не понимал, что я тут, в Красноборске, делаю и какое отношение к этому имеет его сестра. Любочкина опять стала внушать мне, что если писать о Красноборске, то нельзя откладывать этого в долгий ящик, потому что город быстро растет — новые улицы вытягиваются одна за другой, и фабрика расширяется с каждым годом, а коммунальное хозяйство города топчется на одном месте. — Нет, то, что вы напишете через год или два, нам это неинтересно,— повторила она решительно.— Как это можно, через год или два? Вот если бы вы написали сейчас, это помогло бы нам достать экскаватор для рытья водопроводных траншей. А то это же безобразие— на фабрике самая современная техника, а в городском хозяйстве одни несчастные лопаты, как в какой-нибудь медвежьей дыре... Смотрите не вздумайте только написать, что Красноборск— дыра. А то вы еще вообразите! Смотрите же!—снова погрозила она.—Вам тут зададут. А вы о чем собираетесь писать? — поинтересовался ее приглядывавшийся ко мне брат. В том-то и беда, что я сам еще не знаю, о чем,—признался я.- Очень, очень жаль,—сказала Любочкина, но когда я объяснил, что впечатления от Красноборска у меня сложные и разобраться в них я еще не успел, она согласилась:—Да, конечно, с выводами торопиться не надо... Вот поглядите,—сказала она затем, показывая на большую сверкающую свежей краской вывеску «Комбинат бытового обслуживания», приколоченную к старому, фабричного вида зданию.— Комбината еще нет, но и вывеска — уже большой шаг вперед. Вы, пожалуйста, не смейтесь—вопрос об этом комбинате мы два года не могли столкнуть с места. Костя, сколько раз ты пытался продвинуть его через газету?- Столько же, сколько выговоров получил от редакции за пристрастие к бытовым мелочам,—пробурчал Костя и в пояснение мне добавил:—У нас же в газете что не относится к очередной кампании, мелочи. Мне давно уже было пора свернуть к озеру, но я совсем забыл об

этом и вместе с ними подымался в гору, к центральной площади, словно нам было по пути. Хорошо, когда не надо никуда торопиться и можешь идти туда, куда тебя потянет случайная встреча, новое знакомство. По дороге мы не раз переходили с одной стороны улицы на другую: то Любочкина хотела похвалиться новой столовой, и мы заглядывали в ее заляпанные побелкой окна, так как открытие этой столовой тоже было еще делом будущего; то она тащила нас на заросший бурьяном пустырь, где давно уже решено построить общественный туалет, да вот один районный начальник, живущий в доме рядом, запротестовал против такого соседства, и горисполком никак не может его уломать, хотя туалет запроектировано построить по последнему слову санитарной техники. Познакомила меня Любочкина с новой торговой точкой—стеклянно-серебристо-голубым галантерейным киоском, только что открывшимся на центральной площади Красноборска под тем самым в половину глухой стены двухэтажного здания плакатом, на котором счастливые молодожены радуются, глядя в сберкнижку. За блестящими стеклами новой торговой точки всеми цветами радуги переливались каскады бус и гирлянды галстуков, сверкали серьги, броши, портсигары, и среди этой галантереи золотоволосая продавщица с лиловыми губами сидела, как царица на троне, в полном одиночестве. Костя, тоже обративший внимание на ее грустное одиночество, молча показал мне на другой угол—там у старого, грязного, покосившегося киоска фруктовых вод и табачных изделий покупатели стояли в очереди. Постояли мы немного и у мебельного магазина, где сгружались с машины круглые столовые столы. Тут, оживившись, Костя сообщил мне, что в городе есть своя мебельная фабрика, но это не ее продукция—она называется комбинатом, но производит только канцелярскую мебель, а круглые столовые столы привозят сюда издалека и, как видите, изрядно побитые в дороге. Он уже написал об этом стихотворный фельетон, но редактор забраковал его—говорит, что продукцию мебельного комбината планируют не в Красноборске, а повыше, так что районной газете нечего совать нос в эти дела. Костя развел руками: ну что вы на это скажете? Потом вслед за Любочкиной мы снова перешли на другую сторону улицы и очутились у крыльца одноэтажного, обшитого тесом и окрашенного светлой охрой домика с вывеской у дверей под стеклом в деревянной рамке: «Горсовет». Домик уютно укрывали старые липы, кроны которых сплелись в непроницаемый для солнца навес. Все это напомнило мне многие горсоветы районных центров—все они помещались в таких небольших уютных деревянных домиках, иногда даже с цветами на подоконниках и белыми занавесками на окнах. И я подумал, что горсоветам в маленьких городках, больше чем каким-либо другим учреждениям и организациям, приходится заниматься бытовыми нуждами граждан—это-то, наверное, и накладывает на них отпечаток некоторой домашности. В райисполкоме, например, такого отпечатка не увидишь—он стоит уже много дальше от быта населения. Конечно, сказывается и то, что среди работников горсоветов особенно много женщин.— Может быть, заглянете к нам?—пригласила меня Любочкина. Я не стал отказываться. И Костя, чуть поколебавшись, зашел вместе с нами. Он, должно быть, имел в виду поговорить еще со мной о чем-то. В горсовете Любочкину поджидали посетители. Как только она села за стол, комната, где, кроме нее, сидели еще двое—девчушка, старательно стучавшая на машинке двумя пальцами, и пожилая женщина, щелкавшая на счетах—сразу заполнилась людьми, ввалившимися сюда из коридора. Любочкиной было уже не до меня. Ею завладела какая-то бойкая старушка, явившаяся с жалобой на строителей школы,—хотят снести ее погреб, го-ворят, что стоит не на своем месте, но ведь она затратилась на него, и, значит, это ее погреб, а если мешает стройке, то пусть его снесут, но обязательно построят другой, такой же. Я немного постоял, послушав ее разговор с Любочкиной, а потом телефонный разговор Любочкиной с прорабом строительства—она просила его по возможности уважить старушку и построить ей другой

погреб. Костя куда-то вышел, вернувшись скоро, сказал:—Теперь к ней не подступите. Пойдемте лучше к нам в редакцию.Морячок»,—подумал я, увидев этого паренька, как-то удивительно прочно стоявшего на шатком мостике с похожим на бинокль фотоаппаратом у глаз. И потом что-то и в его облике и в походке подсказывало мне, что был уже на военной службе и проходил ее во флоте. По дороге в редакцию мы с ним разговорились, и действительно оказалось, что еще в прошлом году Костя служил на Северном флоте, и, между прочим, именно там, на Баренцевом море, в нем забились журналистская жилка раньше, когда учился в текстильном техникуме, он и не подозревал о ней. Нет, о том, что готовился на текстильщика, он нисколько не жалеет—наоборот, сейчас это ему помогает как газетчику разбираться в производственных делах шелковой фабрики, и, кроме того, в случае чего он может пойти на производство. А вот в колхозно-совхозных делах он не может считать себя сведущим человеком: жил и вырос в городе, деревню знает со стороны. И очень жаль, потому что приходится писать и о сельском хозяйстве. Правда, он старается избегать этого — предпочитает писать о том, что хорошо изучил. Вообще он терпеть не может верхоглядства, к которому приучает некоторых журналистов газетная спешка. Пусть его упрекают в недостаточной оперативности, неповоротливости, даже в тугодумстве, пусть—все равно он не напишет, пока у него не будет уверенности, что как следует изучил материал и сделал из него правильные выводы, хотя бы материал этот относился и к так называемым бытовым мелочам». Хватать материал на лету, бежать в редакцию и диктовать прямо на машинку—это не его метод работы. И вообще это не метод, а халтура. Так он считает. Все это рассудительным тоном, с полным сознанием собственного достоинства он сразу изложил мне, как только речь коснулась его газетной работы. Она ему нравится тем, что позволяет человеку чувствовать себя в самом центре жизни, и той большой ответственностью, которую возлагает на него за каждое слово.— Вы же понимаете, что значит печатное слово, хотя бы и в районной газете,— сказал он. Что касается своего провала на экзамене, то он думает, что это не большая беда,—нынче опять попытается поступить, но уже на заочное отделение, потому что теперь ему трудно будет вырваться из Красноборска: недавно женился. Жена его тоже провалилась на экзамене, и познакомились они на обратном пути из Москвы, автобусе; сидели рядом, и она полдороги плакала, а потом вместе смеялись над собой — какие глупые ошибки сделали, и, представьте себе, оба по русскому языку. В редакции разговор продолжался за комплектом«Красноборского знамени». Перелистывая его, Костя знакомил меня с некоторыми опубликованными за последнее время в газете материалами и попутно со своими заметками, очерками и стихотворными фельетончиками, преимущественно на бытовые темы, которые сам с удовольствием читал мне вслух.Мы сидели в небольшой комнате, до того заставленной канцелярскими столами, что я едва пролез вслед за Костей к его скромному рабочему месту в углу возле окна. По случаю обеденного перерыва, кроме нас, никого тут не было, но из соседней комнаты время от времени открывалась дверь, и к нам заглядывал худощавый, нервного вида мужчина. С каждым появлением раздражение на его лице усиливалось, но Костя только пожимал плечами и поворотом головы в мою сторону показывал, что занят—у него посетитель. И нервный мужчина исчезал за дверью, не открыв рта. Наконец Костя сказал: — Редактор чего-то волнуется; Пойду успокоить его .А вы пока сами полистайте. Может быть, что-нибудь натолкнет вас на мысль. Вероятно, он думал, что если я не знаю, о чем писать, то мне надо помочь. Пока я в одиночестве листал газетный комплект, из соседней комнаты доносился только один раздраженный редакторский голос. Потом он как-то вдруг сразу затих, наступила длинная пауза, а затем постепенно начал набирать силу спокойный басок Кости. Вернувшись, Костя подошел к окну и стал глядеть на пустой двор. То ли он расстроился после разговора с редактором, то ли просто

задумался. Тугие губы его шевелились, будто он что-то сосал. Отвернувшись от окна, Костя сказал: — Милиция сектантов накрыла, какой-то притон их обнаружен. Надо идти за материалом, в номер. Редактор говорит, что это будет гвоздь. Мы вместе вышли из редакции.— Как вам нравится такое выражение—«работать на читателя»?—заговорил он на улице.—На кого же мы еще работаем, если не на читателя? А наш редактор вспоминает о нем, только когда подписка. Сейчас он в панике: с подпиской на второе полугодие катастрофа, и, главное, секретарь райкома сказал, что раз люди не подписываются, значит газета скучная и виноваты не они, а редактор. Вот он и накинулся на меня: как это в такой момент, когда надо работать на читателя, самый живоотрепещущий материал прозевываю? Это он о сектантах—животрепещущими вдруг стали для него, а раньше и слышать не хотел о них, кричал: «Что ты мне подсовываешь?» Тут я ему и выдал. Какой это «момент»? Подписное время? А подписка кончится, на кого будем работать? Не на читателя, а на начальство? Когда мы с Костей прощались возле большого каменного здания районной милиции, он сказал: — А я уже Василия Ивановича спрашивал, чего это вы несколько дней по городу ходите, со всеми о чем-то разговариваете, а в редакцию не заглянете? И что он вам на это ответил? — поинтересовался я. — Сказал, что вас больше старина интересуется. Специально по этому вопросу с Храповым целый день беседовали. Если так, то напрасно. Сейчас в Красноборске надо разговаривать с молодежью. — А раньше? — Раньше тут молодежь не оставалась. Окончит десять классов—и в Москву. Теперь куда меньше стали уезжать—на фабрику идут работать. И к нам в редакцию десятиклассники пришли. Зачем сейчас уезжать, когда скоро москвичи сами начнут перебираться к нам. Кое-кто из них уже обзаводится тут домиками. Правда, пока только пенсионеры. А почему бы какой-нибудь московский институт не перевести к нам? Вот написал бы, что пора уже,—это мысль! Прощаясь, он попросил меня напомнить Василию Ивановичу, что редакция ждет от него статью о жилищном строительстве. — Пописывает?—спросил я. — А как же! Старейший рабкор нашей газеты. Когда-то писал еще под псевдонимом «Жало». Это было для меня новостью. Расставшись с Костей я пошел к озеру в том возбужденном настроении, какое бывает, когда запавшие в голову впечатления начинают складываться как-то воедино, а потом долго сидел на скамеечке у озера, напротив чайной, думал: как бы об этом написать и что же все-таки главное?

14. НА УЛЬЯНОВСКОЙ МЕЛЬНИЦЕ

Все эти встречи и разговоры, в которые, видимо, не без умысла втянул меня Василий Иванович, так далеко отодвинули первоначальную цель моей поездки в Красноборск, что вряд ли бы я вернулся к ней, если бы не Алексей Афанасьевич, собравшийся испробовать на Дреме свои новые, собственного изобретения снасти для ловли налимов. Протащившись несколько километров с мешками на спинах—Александр Афанасьевич, кроме того, нес на плече толстую связку длиннейших удилиц,—мы с ним к заходу солнца добрались до Ульяновской мельницы, вернее до того места, где она когда-то стояла, потому что от мельницы остался только частокол торчащих из воды и обросших зеленой плесенью свай. Это было глухое, безлюдное местечко, точь-в-точь такое о каком я мечтал в своих бесплодных рыболовных странствиях,—со старой, сваленной бурей сосной под высоким, круто обрывающимся берегом. Комель сосны с глыбой вывороченной земли, покрытой плюшевым мхом, с торчащими из нее оборванными корнями,—этот огромный комель, похожий на какое-то чудовище с растопыренными щупальцами, лежал на верхнем краю кручи, а вершина с еще свежей зеленой кроной купалась на середине реки. Только тут, где вода обтекала запененные сучья и ветки сосны, и видно было, что Дрема не стоит, а хотя и медленно, но все же течет. Она здесь черная, глубокая, сказочно таинственная в своей непроницаемой глубине. Другой берег укрывала тоже казавшаяся непроницаемой волнообразная стена густо кустарника. По

гребням застывших зеленых волн лежали солнечные пятна, а река вся уже была в тени. Алексей Афанасьевич запускал в воду, подталкивая их длинным удилищем, свои игрушечные, оснащенные зонтичными спицами кораблики. Привязанные к вбитым в песок колышкам длинными шнурками с тяжелыми грузилами, кораблики выстраивались вдоль берега кильватерной колонной. Кораблики эти имели вид плавучих подъемных кранов и были придуманы Алексеем Афанасьевичем для того, чтобы вытаскивать со дна Дремы налимов, когда они ночью начнут выходить из своих подводных ям на жировку. |По другую сторону упавшей в воду сосны он закинул десяток донных удочек на пятиметровых удилищах, положил их в ряд на рогульках, и теперь нам осталось только обождать, пока налимы проснутся. Стемнело, но остроносые дощечки-кораблики в своей черной легкой оснастке были еще видны, и Алексей Афанасьевич, стоявший у воды с потухшей трубкой во рту, глядел на них так, будто это были не изделия его собственных рук, а вдруг появившаяся на Дреме крошечная флотилия каких-то гномиков: приплыли бог весть откуда и встали на якорь тут, возле свалившейся в воду сосны. Он глядел на эти кораблики, сторожившие налимов, а я вспоминал, как отец мой, незадолго до смерти уже почти потерявший от старости зрение, рассказывал о своем детстве и, между прочим, о том, как ему искушали пальцы водяные крысы, когда он с мальчишками нырял под развалившиеся устои каменного моста, где в подводной пещере под охраной крыс обитали огромные черные налимы-оборотни, бывшие монахи, когда-то изгнанные из монастыря за какие-то грехи. Все-таки отец мой поймал тогда самого главного черта. Черт этот так ударился о корзинку, что всю морду себе раскровенил. У всех нас в детстве мир был полон волнующей жути. Может быть, поэтому так и приятно, уединившись на глухом берегу, посидеть у костра в узком круге света, обложенного тьмой, в которой все время кажется, что кто-то дышит, шевелится. Хоть раз бы еще стало так таинственно в мире, как это бывало в детстве! Установив все свои многочисленные снасти, Алексей Афанасьевич стал по порядку, одну за другой, проверять их, а я поспешил развести костер, чтобы укрыться от комаров и вскипятить в котелке воду для ухи. Но вода уже ключом кипела, а ленивые налимы, видимо, все еще блаженствовали в своих глубоких ямах. Наконец и Алексея Афанасьевича одолели комары, и он тоже подсел к костру, пожаловался на погоду: тепло, вот налимы и разнежились, не хотят выходить на жировку; была бы ночь похолоднее да с дождичком, тогда бы они непременно вылезли. — Ну подождем, может, еще и вылезут, на наше счастье,— сказал он.—Давайте пока кулеш варить. Пока кулеш варился, Алексей Афанасьевич подрезал острым ножом бутылочные пробки, мастера из них маленькие пузатенькие, очень аккуратные поплавочки. Но тому, как он любовался ими, вертя между пальцами, ощупывал, достаточно ли гладкие, а потом складывал в холщовый мешочек, я понял, что мастерить эти поплавочки доставляет ему большое удовольствие и что еще большее удовольствие он получит, когда будет раскрашивать их масляными красками. Я сам с некоторых пор, не имея никакой сноровки в ручном труде, бываю страшно доволен, когда сколочу что-нибудь такое, хоть и кособокое, но что можно было бы покрасить. Ну разве это не удивительно: мазнешь несколько раз кистью—и вещь уже стала другой! Алексей Афанасьевич преподает в школе географию, но через год ему выходить на пенсию, и он загодя готовится к этому, приучаясь к ручному труду,—думает сам изготавливать для себя все рыболовные снасти; хочет научиться и столярному ремеслу—рамки делать для своих картин.Ему, наверное, все равно что делать—писать картины <из головы> или выпиливать рамки для них. Главное, что бы самому сделать вещь, а какую, это не так уж важно. Управившись с кулешом, мы снова пошли проверить снасти. Нет, налимы все еще не выходили из своих ям. Вернувшись, стали чаевничать у костра, и Алексей Афанасьевич поделился со мною своей давней мечтой: составить справочник для красноборских рыболовов с описанием всех рыб, которые водятся в

Дреме,—их нравов и повадок, какая рыба когда и на что лучше берет, в каких местах ловится, какими удочками и тому подобное. — Ведь в каждой речке, даже самой маленькой, у рыбы свои странности,—сказал он. У него уже есть целая тетрадь записок—материалы для такого справочника, надо только обработать. Вот пойдет на пенсию и займется этим. Все, о чем бы ни говорил Алексей Афанасьевич, сводилось у него к радости жить на лоне природы и заниматься ручным трудом. И как жаль, что внук не признает природы—летом целые дни сидит, уткнувшись в телевизор, на речку или в лес по грибы-ягоды не зянешь, ручного труда тоже терпеть не может: очень аккуратный мальчик, любит ходить в чистом. Поговорили, и я, укрывшись плащом с головой, чтобы комары не заели—это волшебное местечко, в которое притащил меня Алексей Афанасьевич, кишело ими,— решил заснуть на часок-другой. «А тем временем, может быть, и налимы в конце концов продерут глаза»,—подумал я уже со злостью. У меня все время вертелось в голове то, о чем я должен написать, вернувшись из Красноборска, и во сне, как всегда в таких случаях бывает, начал сочинять какую-то страшную фантазмагорию. Чувствовал, что сплю и сочиняю ахиною, голова от этого сочинительства лопалась, проклинал себя, а все-таки сочинял и сочинял. Проспал до восхода солнца, измучился, однако проснулся бодрый, увидел Алексея Афанасьевича, стоявшего у речки, возле своих игрушечных корабликов, и на свежую голову с облегчением подумал: если буду писать, то напишу просто, без всяких выдумок, как поехал в Красноборск рыбу ловить и что из этого получилось. Подошел к Алексею Афанасьевичу и вместе с ним стал глядеть на его кораблики, выплывавшие из тумана на чистую, чуть дышавшую паром воду. Другой берег весь был укрыт плотным, как снег, туманом. На середине реки туман истекал струйками, клубился легкими облачками над кроной упавшей в воду сосны, растекался по воде, как дым. Казалось, что дымят и эти золотистые с черными мачтами кораблики, по-прежнему стоявшие кильватерной колонной. Трудно было поверить, что это всамделишные рыболовные снасти. Не придумал ли их Алексей Афанасьевич только для того, чтобы не скучать в ожидании, пока налимы проснутся и выползут из своих ям? А может быть, и ям тут никаких нет? — Нет, нет, ямы тут есть, и налимы есть. Только ночи уже стали теплые. Теперь, видимо, осени надо ждать,— сказал Алексей Афанасьевич и насторожился. У другого берега в тумане будто вода лопнула. С таким звуком обычно появляется из воды жадно схвативший наживу и отчаянно упирающийся окунок, когда счастливый рыболов нетерпеливо рванет удилице через голову. За этим тотчас донесся тот свистящий звук, с каким упруго изогнувшийся окунок взлетает в воздух на туго натянутой леске. Слышно было и как он шлепнулся—то ли прямо в руки рыболова, то ли возле него на траву. Вскоре туман разошелся, и стали видны все торчащие из воды сваи бывшей Ульяновской мельницы. И без того высокие, за ночь они выросли вдвое — на каждой свае стояло по удильщику. — Окунок здесь утром хорошо берет,—сказал Алексей Афанасьевич. —Только на свае долго не прстоишь— трудно удержаться, да и забираться нам с вами на них уже нелегко. Пришлось согласиться с этим. Бог с ними, со всеми щуками, налимами, окуньками. В голове вертелось совсем другое. Надо было возвращаться в Москву и успеть захватить место в автобусе.

15. ПОСЛЕДНИЙ РАЗГОВОР

На автобус я в тот день не попал—задержала еще одна непредвиденная встреча на автобусной станции, куда по дороге на работу проводил меня Василий Иванович. Простившись и пригласив при случае заезжать к нему без стеснения, он ушел не оглянувшись, очень озабоченный какими-то неполадками на стройке новых домов. В ожидании автобуса я сидел в открытом деревянном павильончике для пассажиров. Сначала глядел, как Василий Иванович торопливо шагает с заложенными в карманы руками посередине широкой улицы, гладкой, песчаной,

как дно высохшей речки. А потом, когда его маленькая фигурка исчезла вдаль, стал поглядывать вокруг—на крутой спуск к мосту, закрытый для проезда положенной на козлы доской: там начали уже мостить улицу булыжником; на одиноко стоящие тут и там, возвышаясь над домами и садиками, вековые липы с непроницаемо темными, как тучи, кронами; на облупившуюся колокольню с выросшей на ней высоко-высоко в кирпичной расщелинке тонкой березкой. Глядел вокруг и думал, что хороши эти маленькие старинные, бог весть когда еще пережившие все на свете — войны, мятежи, глад и мор — городки древнерусской Московии. Уютно и, главное, как-то особенно крепко чувствуешь себя тут, как будто и сам ты корнями уходишь в века. Вот пробыл я в Красноборске несколько дней, а завел уже много знакомств. Не везде это случается. Мои раздумья о Красноборске были прерваны вторжением на пустовавшую перед павильоном автобусной станции площадку сверкающего своей бледно-зеленой краской «Москвича». Лихо вывернувшись из-за угла улицы, машина резко затормозила, и из ее открывшейся передней дверки высунулась чернокудрая голова первого секретаря райкома. В распахнутом пиджаке Кузьма Степанович быстро прошел к каменному домику диспетчерской, скоро вышел назад, окинул взглядом сидевших в павильоне пассажиров и, чуть помедлив, словно задумавшись о чем-то, шагнул ко мне. — Что же это вы?! Уже обратно собрались? У моих ног стояли два рюкзака. Когда я поднялся, они опрокинулись набок в разные стороны. — Ну, как же так—уезжаете... а ко мне не зашли? Все-таки следовало бы. Действительно, получилось нехорошо: несколько дней ходил по городу, где только не побывал, а в райком не удосужился зайти. И, чтобы оправдаться, я сказал, что приезжал, мол, не по делу, а просто так—отдохнуть, рыбу хотел половить... То, что уже говорил. — Знаю я, как вы рыбу ловили.—Кузьма Степанович усмехнулся и сказал:—Нет, так не отпущу. Поедете следующим автобусом, через три часа будет, а сейчас давайте ко мне в райком, потолкуем. Я растерянно показал ему на свои опрокинутые мешки. — Куда же с ними в райком? — Ничего, ничего,—сказал он, взял один рюкзак, пошел к своему «Москвичу» и сунул мешок на заднее сиденье. Пришлось и мне за ним, со вторым мешком, лезть в машину на глазах всех собравшихся у павильона пассажиров. — Ну, признавайтесь,—сказал Кузьма Степанович, круто развернув свой «Москвич»,— что задумали писать? А то люди говорят мне: бродит по городу писатель, расспрашивает всех—о чем это он? А я не знаю. Как скажешь, о чем задумал писать, если сам представляешь себе это еще очень смутно? Он не стал допытываться, спросил только: — Ну, а город как... понравился? Я сказал, что город шелковый. — В производственном смысле, конечно.— Нет, вообще, особенно когда солнце выглянет после дождика,—посмеялся я. Кузьма Степанович вел машину одной левой рукой. Правая, свободно откинута, постукивала пальцами по спинке сиденья, как бы отбивая такт. Лишь на повороте дороги он перенес ее на рулевое колесо и вскоре снова откинул на спинку сиденья. Мы ехали по окраинным улицам города, объезжая закрытый со стороны автобусной станции спуск к мосту, мне вдруг примерещилось, что мы едем широкой грейдерной дорогой, пересекающей бесконечный массив пшеницы. Когда-то там, в южной степи, было все точно так же. Я ехал с директором зерносовхоза. Он тоже вел машину одной рукой. Я сидел позади и во время разговора с ним видел только его плечи, затылок и правую руку, отстукивающую пальцами по спинке сиденья. Иногда такт отбивался весело, иногда раздраженно. В ту пору я разъезжал корреспондентом по совхозам—зерновым гигантам, и главной моей задачей было бить по так называемым «мокрым настроениям». А тогда в этих настроениях обвинялись все, кто не хотел во имя сводки губить хлеб—лишь бы поскорее посеять и скорее убрать. Поэтому при разговорах с корреспондентами директора и агрономы частенько постукивали пальцами, а раздраженно или весело, это уже зависело характера и настроения. Но чаще всего постукивали раздраженно. Секретарь Красноборского райкома

постукивал пальцами не весело и не раздраженно, а просто так, скорее всего задумчиво. Вспомнив прошлое и сразу почувствовав себя свободнее, я сказал Кузьме Степановичу, что в Красноборске я впервые, что, приехав в новый город, ходил по нему и разговаривал с людьми без всякой предвзятой цели, только из любопытства, и что это показалось мне гораздо интереснее моих прежних корреспондентских наездов, когда все было определено заранее. И с ним мне хотелось бы познакомиться так же, как знакомился со всеми в Красноборске. — Ну что ж,—сказал он,—давайте так и будем накомиться. Тогда я сказал ему, что в свое время встречался со многими секретарями райкомов, с некоторыми был даже хорошо знаком—правда, это было довольно давно,—но что он ни на кого из них не похож и, пожалуй, скорее напоминает мне директоров совхозов, МТС или сельскохозяйственных инженеров-механизаторов. — Так и есть. Инженер-механизатор послевоенного выпуска. Давайте дальше. Это можно было понять в том смысле, что если меня интересует его биография, то он готов тут же, не теряя я времени, заполнить анкету. И я, поддавшись взятому им тону, стал полушутливо задавать анкетные вопросы. Он отвечал, по-прежнему не оборачиваясь и продолжая постукивать пальцами: — Начал войну школьником, через год кончил лейтенантом на костылях... После института работал в МТС инженером, последний год директором. И каждый раз повторял: — Давайте, давайте дальше. А когда мы подъезжали уже к райкому, вдруг обернулся и засмеялся: — Ну что, познакомились? Как видите, партийный работник еще молодой, не забуревший,— считайте, что с Двадцатого съезда. — Были делегатом?— Довелось. Вылезая из машины у каменного, похожего на трибуну открытого подъезда райкома, я замешкался со своими застрявшими в дверке рюкзаками и спиннингом. — Да оставьте их,—сказал он.—Чего вам таскаться с ними? Никуда не денутся.— И захлопнул дверку. Пусто было в вестибюле, на лестнице и в коридоре второго этажа райкома, куда мы поднялись. Все тут бле-стело — натертый паркет, стекла окон, масляная краска стен, подоконников, полировка дверей. И было так тихо, что казалось, и за дверьми, в кабинетах, тоже никого нет. Но когда Кузьма Степанович мимоходом приоткрыл одну дверь, я увидел в большом помещении—не то это был парткабинет, не то конференц-зал — много людей, сидевших за длинным столом перед открытыми тетрадами. Вероятно, там шел какой-то семинар. Глянув туда хозяйским оком, Кузьма Степанович провел меня в приемную — комнату с двумя обитыми дерматином дверями, одна против другой, как обычно, и с двумя столиками в глубине, за которыми сидели лицом к лицу две немолодые уже женщины. Открыв свой кабинет, Кузьма Степанович пригласил меня зайти, сказав, что будет через минутку. Минутка затянулась. В ожидании я вволю налюбовался продукцией красноборской промышленности — шелками разных расцветок и рисунков, туго натянутыми в раме, занимавшей почти целую стену кабинета. Вернувшись, Кузьма Степанович посмотрел на часы и сказал, что время у нас еще есть—до начала бюро около часа. Снял пиджак, кинул его на спинку кресла и, подтянув рукава рубашки, сел за свой большой стол. Мы не успели начать разговор, как в кабинет сразу вошли трое: высокая, худая, строго одетая женщина, которую я видел во Дворце культуры,—третий секретарь райкома—и двое следовавших за нею мужчин. На меня они не обратили внимания—не до того, видно, было. — Кузьма Степанович, что же это такое!—возбужденно и громко заговорила женщина. —Это же недопустимая недооценка политического значения выборов народных судей. — Ну зачем же так, Мария Михайловна, сразу уж и недооценка?—жалобно простонал один из вошедших мужчин. Другой молча развел руками и прижал ладони к ушам. Кузьма Степанович встал, и на лице его появилось выражение терпеливого внимания уставшего от разговоров человека. Выслушав объяснения всех троих—объяснения, из которых я понял, что спор идет о какой-то участковой комиссии на дальнем поселке,—он сказал просительным тоном: — Пожалуйста,

разберитесь в этом деле сами. Мария Михайловна ушла, как мне показалось, в растерянности, а следовавшие за ней мужчины—весьма довольные. | — Никак отвыкнуть не могут, ни шагу без руководства,— сказал Кузьма Степанович и сел за стол.— Ну, рассказывайте подробнее, какое впечатление произвел да вас Красноборск. Я повторил, что город мне понравился, особенно после летнего дождя, когда солнце снова засветит, и сказал, что не прочь бы пожить тут подольше, если будет возможность. — Пожалуй, не прогадаете,—усмехнулся Кузьма Степанович.— Озеро, речки, сосновый бор и от Москвы не так далеко, как это вам, наверное, казалось.— Почему так думаете? — Догадываюсь. В дверях появился грузный мужчина с круглыми глазками и крупным подбородком. Шагнул и, поглядев на меня, замялся.

— Чего ты, Кукушкин? Заходи, заходи,—пригласил его Кузьма Степанович и опять встал. Кукушкин! Да не тот ли это самый Кукушкин, бывший директор деревообделочного комбината, которого в прошлом году послали председателем колхоза в Петухах, где он в пылу усердия оставил людей без каши, скосив гречу на силос? До чего же унылое лицо! Или человеку все на свете опостылело, или он затаил обиду на весь свет. — Что там у тебя еще стряслось?—спросил его Кузьма Степанович. — Да я все насчет того, когда мне будет освобождение? — Вот собрание проведут, и думаю, что никто тебя задерживать долго не станет. — Да чего уж задерживать.— Помолчав немного, Кукушкин спросил:—А стружку с меня будете еще снимать? Кузьма Степанович махнул рукой: — Что с тебя теперь снимешь! Помявшись еще чуть, Кукушкин сказал с облегчением: — Ну, я пошел.

Когда он вышел, я спросил, не тот ли это самый Кукушкин, что начудил с гречихой в Петухах. Кузьма Степанович, что-то записывавший в настольный календарь, поднял глаза. — Слыхали? — Да так, краем уха. — Он, тот самый. Старый кадр. Где только не руководил — и по торговой линии, и по заготовительной, и по производственной даже, представьте себе. Вот и решили умники послать его на укрепление руководства в колхоз. Его только там и не хватало. Это напомнило мне о Федоре Ивановиче Храпове. — Храпов? Кто это такой? — спросил Кузьма Степанович.—А-а, муж Малининой! У него, говорят, два брата генералы. Кажется, по истории фабрики что-то пишет. Пришлось поделиться своими размышлениями о Храпове и его судьбе. — Ну что ж, и то хорошо, что сам нашел себе дело на старость,—сказал Кузьма Степанович.—А вот к какому делу Кукушкина пристроишь? До пенсии же хочет дотянуть человек...В кабинет все время кто-нибудь заходил. Кузьма Степанович со всеми разговаривал стоя. Сначала я подумал, что он это делает, чтобы люди не засиживались и мы ним успели поговорить до начала бюро, но потом понял, что дело не во мне, а в привычке бывшего эмтээсовского инженера, которому приходилось разговаривать с людьми не в кабинете, а в ремонтной мастерской, или в поле у тракторов и комбайнов, или на полевой дороге. И мне вспомнился Сейм под Путивлем: как там в первую после войны посевную обвязывали веревками бочки с горючим возле взорванного партизанами моста и перетаскивали их через реку и как директор МТС, бывший партизан-подрывник, бегал по берегу на костыле—у него, была перебита нога взорвавшейся на вспаханном поле миной,—командовал этой необычной переправой, как этот же директор ездил в областной город поездом за автолом и привозил его в ведре. В кабинете опять появилась Мария Михайловна, и я подумал: «Ох, и верно, старательная, ни шагу без руководства...» Положив перед Кузьмой Степановичем на стол какую-то бумагу, она заговорила тем же возбужденно громким голосом, должно быть уже давно обычным для нее. Теперь она вела речь о том, что все уже окончательно согласовано, утрясено, только вот насчет народных заседателей есть у нее возражение: вместо недостаточно проявившей себя учетчицы Ванюшиной надо выдвинуть лучшую свинарку совхоза Рязанцеву. — А может быть, пожалеем

Рязанцеву? — спросил Кузьма Степанович с вновь вдруг появившейся на лице усталостью.—Не забываете все-таки, Мария Михайловна что у нее дети маленькие. Зачем ее всюду совать? Нет, давайте-ка пожалеем ее, а то ей скоро и дома и на ферме некогда будет бывать. Уходя, Мария Михайловна сказала:—Значит, это моя недоработка... Недоучла. — Вот и с Шурой Кругловой с шелковой фабрики...—заговорил я. — Знаю. Та же беда,—опередил меня Кузьма Степанович.—Обычная история, когда поднимут человека и никого вокруг больше не видят. Привычки прошлого давно осуждены, но еще дают себя знать... Так, говорите, Красноборск понравился? Что ж, городок хороший. И город и деревня— все тут перемешалось. Сложный в этом отношении городок. В кабинет уже начали входить члены бюро, кто садился на мягкий диван, кто за длинный стол, а редактор нервно похаживал туда-сюда и косо поглядывал на меня :приехал рыбу ловить, так нечего торчать, мол, тут. И я поднялся, стал прощаться. Кузьма Степанович, выйдя со мной в приемную, попросил вызвать шофера, чтобы тот подкинул меня до автобусной станции, и на прощание сказал: — Думаю, что не ошибетесь, если напишете о Красноборске. Теперь, когда я написал об этом маленьком старом русском городке, вызвавшем у меня много всяких воспоминаний, мне кажется, что я прожил в нем не несколько дней, а долгие годы.

1962